

лениздат



библиотека  
молодого  
рабочего

С. Варшавский

Б. Рест

# Подвиг Эрмитажа

С. Варшавский Б. Рест





библиотека  
молодого  
рабочего

---

**С. Варшавский  
Б. Рест**

# **ПОДВИГ Эрмитажа**

**ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ**

ЛЕНИЗДАТ • 1985

ББК 85.101  
В18

*Издание 3-е, исправленное*

*Рецензент Ю. Н. Яблочкин,  
кандидат исторических наук*

В  $\frac{0505030202-046}{M171(03)-85}$  166—85

© Лениздат, 1985

---

**Э**та книга повествует об Эрмитаже в годы Великой Отечественной войны. О самом трагическом и самом героическом периоде 220-летней истории прославленного музея.

Ничто не придумано в этой книге. Она воссоздает действительные события, в ней действуют реальные люди. От начала и до конца она документальна. Работая над ней, ленинградские писатели С. Варшавский и Б. Рест твердо верили в образное воздействие документа, в художественную значительность достоверного, в поэтическую силу факта.

Сегодня советским историкам известно, что Эрмитажу грозили не только авиация и дальнобойная артиллерия фашистов. Сокровища всемирно известного музея «интересовали» и самого Гитлера и его подручных, заблаговременно создавших команды дипломированных грабителей произведений искусства и культуры. Спасение ценностей Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны стало делом не только коллектива сотрудников музея, оно стало делом всей страны. Успешная и своевременная эвакуация богатств Эрмитажа была обеспечена всесторонней помощью коллективу со стороны государственных, партийных, советских и военных органов.

Подвиг сотрудников Эрмитажа неотделим от подвига всех тружеников Ленин-

града, в тяжкие годы войны самоотверженно, до последнего дыхания оставшихся на своем посту: у станка, в научной лаборатории, у мольберта. За их подвигом встает во весь рост историческая миссия Советской страны, которая в титаническом сражении с гитлеровскими ордами спасла мировую цивилизацию.

В 1978 году на страницах газеты «Правда» выдающийся советский писатель Константин Симонов, оценивая книгу, писал: «Два бывших военных корреспондента, следуя велению души, опиравшиеся на собственные воспоминания, написали о беспримерном мужестве всего коллектива Эрмитажа — от рядовых работников до ученых с мировыми именами, о негнбимой духовной стойкости людей, неукоснительно продолжавших заниматься своей повседневной музейной работой под снарядами и бомбами фашистов, в холодном, голодном, окруженном врагами городе. Эту... книгу мне хочется и сегодня рекомендовать вниманию читателей...»

К сорокалетию великой Победы «Библиотека молодого рабочего» пополнилась новым изданием документальной повести «Подвиг Эрмитажа». Тот, кто давно знает и любит искусство, испытает радость еще от одной встречи с прославленным музеем. Для тех, кто еще никогда не бывал в Эрмитаже, возможно, эта книга покажется непростой, но она даст представление молодому читателю о стойкости советских людей, о спасенных ими сказочных художественных богатствах музея, фактически охватывающих всю историю мировой культуры.

---

# 1

**С**троительные леса у фасада Зимнего дворца были воздвигнуты сразу после майских праздников, но красить дворец не начали и в июне. Это огорчало работников Эрмитажа. Летом в музее особенно много народу: в Ленинград съезжаются люди со всех концов страны, и никто не упустит случая побывать в Эрмитаже, одном из величайших музеев мира; обидно, что приезжие, подходя к музею, не увидят за изгородью строительных лесов все торжественное великолепие архитектуры Растрелли.

В субботу директор Эрмитажа позвонил в строительный трест и круто поговорил с кем следует. Ему обещали приступить к окраске фасада в ближайшие дни, но он не вешал трубку, пока не была названа твердая дата — послезавтра, 23 июня, в понедельник.

Он разложил перед собой план дворцовых зданий: надо еще раз прикинуть, где разместить выставки отдела истории русской культуры. Этот отдел впервые создается в Эрмитаже, и его коллекции займут почетное место среди собраний западноевропейского искусства и памятников культуры Востока, среди экспозиции отделов античного мира и доклассового общества. Ящики с коллекциями для

нового отдела уже свезены в музей и загромоздили эрмитажные кладовые и запасные подъезды Зимнего дворца. В инвентарных книгах к 1941 году числилось миллион шестьсот тысяч единиц музейного хранения, теперь прибавится по меньшей мере еще двести пятьдесят тысяч вещей.

В своем служебном кабинете директор Эрмитажа держался допоздна, и не только потому, что завтра — воскресенье, самый напряженный день музейной недели, но и потому, что начало лета для музея страдная пора: десятки сотрудников отправляются в дальние научные командировки — в Среднюю Азию, на Кавказ, на Урал, на Алтай; одни уже уехали, другие еще готовятся в путь. Добрые вести пришли сегодня с Керченского полуострова, из села Эльтиген, где эрмитажная экспедиция третье лето ведет раскопки Нимфея, древнего города времен Боспорского царства; радуют и письма из Армении от участников археологической экспедиции, продолжающих на холме Кармир-Блур раскопки памятников Урарту, древнейшего государства на территории нашей страны.

Все письма просмотрены, бумаги подписаны, спрятаны в ящик стола. Взгляд остановился на сегодняшнем номере «Ленинградской правды». Синим карандашом в газете обведена заметка «Залы Тимура и тимуридов в Эрмитаже». Директор Эрмитажа еще раз пробежал ее глазами и удовлетворенно улыбнулся.

Говорят, что газета живет один день. Бессмертие ежедневных газет — в громоздких подшивках на стеллажах публичных библиотек. Пройдут годы, десятилетия, и однажды над этими изрядно пожелтевшими листами склонится их изрядно поседевший современник. И старые газеты вдруг оживут. Ему, своему современнику, умудренному знанием всего, что произошло в мире за минувшие десятилетия, эти старые газеты, прожившие некогда один только день, неожиданно представят в самых необычайных поворотах и парадоксальных сочетаниях многие давние исторические факты, в том числе и те, с которыми было связано опубликование 21 июня 1941 года скромной репортерской заметки о залах Тимура и тимуридов в Эрмитаже.

Имя Тимура, грозного завоевателя, Железного Хромца, Хромононого Тигра, пять столетий назад потрясав-

шее мир, а затем ушедшее в устную легенду, затерявшееся в арабской вязи средневековых манускриптов и в XX веке привлекавшее внимание одних только ученых-востоковедов, неожиданно — в середине июня 1941 года, накануне Великой Отечественной войны — вырвалось на страницы газет. «Тимур и тимуриды», — наперебой передавали специальные корреспонденты ТАСС по телеграфным и телефонным проводам, «Тимур и тимуриды», — звучало в эфире.

Спустя десятилетия читатель, склонившись над газетными подшивками, перелистывает страницы предвоенных номеров, и его трезвый ум постепенно охватывает почти мистическая оторопь. «Тимур», «Тимур и тимуриды», — твердят газетные заголовки из номера в номер, изо дня в день, и непрерывное, каждодневное повторение имени Тимура на протяжении всей недели, предшествовавшей нападению Гитлера на Советский Союз, кажется ему теперь чуть ли не зловещим предзнаменованием.

Но не надо искать проявления мудрой многозначительности истории в каждом случайном совпадении исторических фактов и извлекать мистический корень из ее заурядных парадоксов. Имя Тимура, грозного средневекового завоевателя, пало зловещей тенью на страницы июньских газет только потому, что Советская страна уже с весны 1941 года стала готовиться к празднованию 500-летия его великого современника — поэта-гуманиста Алишера Навои.

В те дни всестороннее изучение многочисленных памятников, связанных с эпохой родоначальника узбекской литературы, широко развернулось и в Узбекистане, на родине Навои, и на берегах Невы, в Государственном Эрмитаже, где еще год назад была создана постоянная экспозиция памятников культуры и искусства народов Средней Азии. В середине июня прибывшая в Самарканд правительственная экспедиция (в нее входил и представитель Эрмитажа) приступила к раскопкам в мавзолее Гур-Эмир — усыпальнице Тимура и его потомков — тимуридов.

Каждая находка археологов становится не только научной, но и газетной сенсацией. Корреспонденты ТАСС не жалеют строк для красочного описания и бирюзовой бусинки из ожерелья, найденной под слоем земли, и нефритовой глыбы, возвышающейся над местом погребения Тимура.

«...Это огромный цельный кусок зеленого нефрита, вывезенный из Китая,— телеграфирует корреспондент.— Народная легенда, дошедшая до наших дней, приписывает этому камню причину жестоких войн...»<sup>1</sup>.

Саркофаг Железного Хромца вскрывали 19 июня, в четверг. «Когда подняли крышку гроба,— сообщали газеты в пятницу,— был обнаружен скелет, по которому установлено, что одна нога погребенного короче, нижняя чашечка правой ноги срослась с нижним эпифизом бедра...» В пятницу, 20 июня, раскопки в мавзолее Гур-Эмир не производились, и для субботних номеров газет очередной материал редакции получили не от самаркандского, а от ленинградского корреспондента ТАСС:

«В Государственном Эрмитаже знаменитому завоевателю Средней Азии Тимуру (Тамерлану) и тимуридам посвящены два специальных зала. Большой интерес представляет коллекция изразцов из мавзолея Гур-Эмир, где сейчас производятся раскопки могилы Тимура... Две реликвии во втором зале непосредственно связаны с могилой среднеазиатского завоевателя. Первая — деревянные резные двери главного входа в усыпальницу Тимура... На стене посреди зала — мозаичная надпись над входной дверью в мавзолей Гур-Эмир...»

Эта заметка была опубликована и в «Ленинградской правде». Директор Эрмитажа обвел ее синим карандашом.



На календарном листке, так и оставшемся не перевернутым со вчерашнего дня, все еще суббота. Газета, лежащая возле календаря, тоже вчерашняя, тоже субботняя. Синим карандашом обведена заметка «Залы Тимура и тимуридов в Эрмитаже». Под ней другая, набранная петитом:

«Вчера и позавчера над Ленинградом прошли первые в этом году грозы. Средний срок первой грозы, по многолетним данным,— 12 мая. Таким образом, нынче она прошла на 38 дней позднее обычного...»

---

<sup>1</sup> Когда несколько дней спустя началась война, фанатичные муллы принялись нашептывать невежественным старухам на самаркандских базарах, будто безбожники-ученые, вскрыв могилу Тимура, из-под тяжелой нефритовой глыбы выпустили на землю злых духов войны. Еще один пример того, что религия и невежество обретают общий язык в суеверии!

Грозы прошли над Ленинградом в четверг и в пятницу, но сегодня, в это воскресное утро, ничто — ни барометр, стрелка которого стоит на «ясно», ни уверенные прогнозы бюро погоды — ничто, решительно ничто не предвещало грозу. Солнце, едва успев скрыться за дальними крышами, снова вставало над Невой, озаряя ее теплыми лучами, и стремительно поднималось в чистое небо.

Мокрый после первой утренней поливки асфальт Дворцовой площади повторял мягкой акварелью сияющую голубизну безоблачного неба и отражал в бесчисленных лужицах блеск солнечных лучей. Набережную подле дворца еще поливали. С Невы набегал ветерок, трепетанием листвы оживляя гравюрную застылость пейзажа, многократно воспроизведенного на эрмитажных эстампах, такого знакомого, бесконечно родного каждому из тех, кто сейчас торопливо шагал к служебному подъезду Эрмитажа. Ветерок дул ласковый, и своими легкими, как недавний предутренний сон, нежными перстами он незаметно снимал ощущение недовольства и досады, которое всегда охватывает человека, внезапно разбуженного настойчивым и требовательным телефонным звонком.

Служебный подъезд, хоженный-перехоженный. Ступеньки, по которым каждый день поднимаешься в эрмитажные залы, и узенькая лесенка вниз, по которой раз или два раза в году спускаешься в штаб МПВО на учебные сборы местной противовоздушной обороны. Узенькая, крутая лесенка.

Странные сегодня учения! В штабе выдали противогазы, каски, санитарные сумки. И сказали — ждите! Медленно тянулись часы. Ожидание томило, почему-то вселяло тревогу. Потом прошел слух, что по радио будет передано важное правительственное сообщение. Какое? О чем? По радио звучала музыка.

Кто-то принес свежий, воскресный номер «Ленинградской правды». На газетных страницах — самые мирные новости, если не считать, разумеется, телеграмм с англо-германского фронта, из Ливии и Египта, Сирии и Эфиопии, второй уже год печатающихся под рубрикой «Война в Европе, Африке и Азии». И тут же рядом — новая телеграмма из Самарканда:

«Сегодня продолжались работы в мавзолее Гур-Эмир... Ученые обнаружили, что на черепе Тимура сохранились остатки волос. Определена возможность вос-

становить довольно точно портретный облик завоевателя...»

Как обычно, в 11 часов двери Эрмитажа растворились для посетителей. Из экскурсионного бюро позвонили в штаб: не хватает экскурсоводов! Несколько девушек, скинув каски и повесив на гвоздик противогазы, поспешили в переполненный вестибюль Главного подъезда.

Тысячи людей разбрелись по музейным залам — кто к Рембрандту и «малым голландцам», кто к Леонардо да Винчи и Рафаэлю, кто в нижние залы, в мир античного искусства, кто к мраморному Вольтеру.

Приезжих поражала пышность Фельдмаршальского зала, Петровского, Гербового... Солнечный свет, врывавшийся в эти некогда парадные апартаменты Зимнего дворца, обновил давнишнюю позолоту стен, колонн, люстр. Реликвии минувших войн повествовали здесь о героическом прошлом русского народа. В знаменитой Галерее 1812 года экскурсовод рассказывал об Отечественной войне.

Людские потоки растекались по музею — кто к древностям Хара-Хото, кто к Ренуару и Дега.

В лабиринтах эрмитажных экспозиций многие разыскивали залы Тимура и тимуридов — телеграммы из Самарканда сделали свое дело.

На белых стенах музейных залов колдовскими красками переливается несравненная глазурь среднеазиатских изразцов, арабские письмена на майоликовых плитах сплетаются в причудливые узоры с лепестками восточных цветов, и в воображении возникает образ далекого мавзолея, в котором всё еще идут сенсационные археологические раскопки. Железными скобами прикреплены к гладкой музейной стене резные, инкрустированные слоновой костью и серебром деревянные двери. Их растворял сухой и желтой рукой сам старый Тимур, вступая в таинственный полумрак возведенного еще при его жизни мавзолея Гур-Эмир.

— Теперь эти двери ведут в никуда, — сказал экскурсовод и взглянул на часы: четверть первого. До конца экскурсии оставалось еще много времени, и он продолжал свой рассказ о Тимуре: — Тимур, подобно Чингисхану, мечтал о мировом господстве...

Было четверть первого. Внизу, в служебном помещении, куда ведет крутая узенькая лесенка, хранители музея, научные сотрудники, работники различных му-

зейных служб уже слушали правительственное сообщение:

«...германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города...»



Правительственное сообщение о начавшейся на рассвете войне было передано в полдень. Все, кто населял города и села огромной многонациональной Страны Советов, слушали в этот час сообщение своего правительства о вероломном нападении фашистской Германии, о вступлении Советского Союза в войну. Правительственное сообщение вместе со всем советским народом слушала и маленькая горстка людей — работники Государственного Эрмитажа. Слова, которые вновь и вновь передавало радио, ударяли в их сердца и под дворцовыми сводами на берегу Невы, и под куполами самаркандских мавзолеев, и на склонах Уральских гор, и в вечной мерзлоте алтайских курганов, и в опаленной солнцем Араратской долине; где бы они ни находились в этот день и час — в археологических экспедициях или дальних научных командировках — всюду, всюду их постигала весть о войне.

Позже других о войне узнала археологическая экспедиция, которая неподалеку от Керчи, близ села Эльтиген, на пустынном, заросшем полынью плато вела раскопки древнего Нимфея.

На Эльтигенском маяке, где участники экспедиции каждое лето находили себе пристанище, радио не было. Все воскресное утро археологи разбирали находки минувшей недели. Трофеев накопилось немало: амфоры, пифосы, красноглинная посуда, золотые монеты боспорского чекана, чернофигурная гидрия с изображением женщины у охраняемого змеей родника... К полудню крымское солнце накалило тесную комнату на маяке, и археологи пошли к своему раскопу.

Раскоп лежал перед ними не выжженным полем, мертвым и немым, вдоль и поперек изрытым лопатами, усеянным безгласными камнями, а цветущим, белым, освещенным солнцем многоголосым городом. И дувший с моря ветер был тот же, что овевал горожан Нимфея, когда они выходили к оградительной стене и глядели на проплывавшие вдоль их берегов тугопарусные кораб-

ли афинян. Корабли держали курс от греческих портов к столице Боспорского царства, раскинувшейся на месте нынешней Керчи.

Вскоре после полудня со стороны Керчи донеслись завывания сирен и прерывистые гудки металлургического завода.

Начальник маяка позвонил в Керчь.

— Война!— ответили ему в пароходстве.— Гитлер напал на Советский Союз...

Заводские гудки умолкли. Перед археологами лежало теперь заросшее полынью искромсанное поле. Войны втоптали в землю древний Нимфей, его дома и святилища, мрамор его надгробий. Пепел и песок заносили его руины...

Кому, как не археологам, следопытам древних культур, дано так отчетливо, почти физически ощущать *движение* истории! История предстает перед ними не только в ее непрерывном стремлении все вперед и вперед — от эпохи камня и бронзы к высшим формам человеческого общежития; пласт за пластом обнажает она перед археологами свои артезианские глубины — и всюду ее запекшаяся кровь, ее грязь, смрадный пепел ее бесчисленных войн, под которым не раз исчезали с лица земли, уходили в небытие города, государства, великие цивилизации минувших эпох.

Факты — хлеб исторической науки. Там, где муза истории беспомощно разводит руками перед черной пропастью тысячелетий, в холодной пустоте которой не брезжит ни одного факта, на помощь себе она призывает археолога. И кто, как не археолог — с его киркой и лопатой, с его совочком, извлекает из небытия обломки империй, слежавшийся прах, казалось бы, никогда не существовавших царств, и циклопическую кладку крепостных стен, и летучий след степных кочевий. По крупницам восстанавливает он их реальный исторический облик, и Клио, муза истории, с нежностью вглядывается в музейные витрины, за стеклом которых лежат обугленные черепки — ее живой хлеб. И кажется — шелестят в залах музея страницы истории былых времен, опаленные огнем вражеских нашествий, изрубленные мечами иноземных завоевателей, истоптанные копытами их коней...

Не об этом ли думает сейчас, воскресным днем 22 июня 1941 года, и молодой ученый, профессор Эрмитажа, начальник кармир-блурской археологической экспе-

диции? Долго стоит он в одиночестве на голой и плоской вершине Кармир-Блур. Груды развороченной красно-бурой глины громоздятся на холме.

Впереди, совсем рядом — Арарат, еще ближе — турецкая граница. Вступит или не вступит Турция в гитлеровскую коалицию? Память настойчиво повторяет услышанные в полдень слова: «Налеты вражеской авиации и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территорий...»

Комочек глины, откинутый носком ботинка, скатился в раскоп. Внизу чернеют задымленные пожаром развалины крепостной стены. Обнажились недра земли, глубинные недра былого; третий год Кармир-Блур неторопливо раскрывает археологам погребенные в нем тайны. В эрмитажных залах выставлены только первые кармир-блурские находки — драгоценные памятники культуры Урарту, давным-давно забытой расточительным человечеством. Что еще таит в себе Кармир-Блур, что еще томится в его глиняном плену?

Близится вечер. Начальник кармир-блурской экспедиции спускается по пологому склону холма. Через несколько дней он покинет Кармир-Блур и вернется в Ленинград... «...Налеты вражеской авиации совершены также с финляндской территории...» Его место сейчас в Ленинграде, а не среди развороченных груд красно-бурой глины Кармир-Блур. Война с гитлеровской Германией прекращает раскопки, как четверть века назад другая война, война с кайзеровской Германией, так же оборвала поиски древних урартских памятников, предпринятые его учителем, тогда еще молодым ученым, доцентом Петербургского университета Иосифом Орбели.



Академик Иосиф Абгарович Орбели, директор Государственного Эрмитажа, яростно хлопнув дверью, вышел из своего кабинета и стремглав поднялся в музейные залы. Не замедляя шага и не оглядываясь, он проходил по анфиладе пустых залов, будто его ожидало где-то впереди какое-то срочное, не терпящее отлагательств дело. Пожалуй, он один только и знал, что обходить музей ему абсолютно незачем, что он попросту сбежал сюда, устав удивлять людей не свойственными ему спокойствием и сдержанностью. Он ненавидит без-

деятельность, ему претят оттяжки. Дело, за которое надо было приняться сразу, еще в полдень, как только было передано правительственное сообщение, откладывается с часу на час. В Москве, в Комитете по делам искусств, которому он обязан подчиняться, на все телефонные запросы он слышит один и тот же ответ: «Ждите указаний...» Не глядя по сторонам, он меряет нервными шагами анфиладу музейных залов.

Пусть так, пусть все правильно, пусть никто ни в чем не виноват. Война для Комитета такая же внезапность, как для всей страны. У руководителей Комитета сегодня тысячи забот. Он согласен, он все понимает. Но неужели они сами никак не поймут, что Эрмитаж один, один — для советского народа, один — для всего мира, один — у человечества! Один — для всего человечества и один у него, академика Орбели! И не кто иной, как он, академик Орбели, лично отвечает сейчас за вверенные ему страной, народом, партией бесценные сокровища Государственного Эрмитажа!

Он не может, он не желает, он не вправе считаться со своим же собственным твердым убеждением, что фашистская авиация никогда не прорвется к Ленинграду. Сегодня он обязан считаться только с тем, что в Севастополе и Киеве уже дымятся развалины домов, что бомбы на наши города сбрасывают те же самолеты с паучьей свастикой, которые бомбили Мадрид, которые превратили в руины Гернику. «Гитлер совершил гнусное и вероломное нападение и обрек себя на гибель», — продиктовал он сегодня корреспонденту «Ленинградской правды». Достаточно ли он подчеркнул свою главную мысль: не только натиск вражеских армий сдерживают сейчас наши войска; это началась давно казавшаяся ему неизбежной титаническая схватка между светом и тьмой, между человечностью и зоологизмом, между гуманистическими идеалами строителей коммунизма и человеконенавистничеством фашистских варваров. Сколько бы ни длилась война — неделю, месяц, пусть даже три месяца — Гитлер, конечно, будет разбит. Но война есть война, и священная обязанность работников Эрмитажа — уберечь от случайностей войны музейные ценности, достояние народа. Все для этого готово в Эрмитаже, все продумано до мелочей, в Комитете об этом знают, зачем же оттягивать то, что предусмотрено и неизбежно?!

Он подошел к окну, выходящему на набережную.

За шпилем Петропавловской крепости медленно поднимался в небо серебристый аэростат. Приказав дежурному по охране запереть выставочные залы, директор Эрмитажа вернулся в свой кабинет.

В приемной уже собрались его ближайшие сотрудники. Звонка из Москвы еще не было. Удивляя всех не свойственными ему спокойствием и сдержанностью, он пригласил собравшихся к себе в кабинет и устало опустился в свое директорское кресло.

Все в сборе. Он переглянулся с секретарем партбюро: кому начинать совещание? Ему? — хорошо, он начнет. Прежде всего он объявит, что предстоит эвакуация Эрмитажа, что к ней придется приступить если не сегодня, так завтра, в понедельник... Взгляд скользнул по календарю. На календарном листке, не перевернутом со вчерашнего дня, все еще была суббота. Он машинально перевернул листок. Красной краской обозначился нынешний трудный день — двадцать второе июня! И вдруг какая-то беглая искра замкнула в сознании ассоциативную цепь. Он неожиданно улыбнулся и быстро перевел взгляд на своего давнишнего сотрудника, который по праву считался знатоком русской военной истории и ведал эрмитажной выставкой «Военное прошлое русского народа».

«Оторвав взгляд от календаря,—вспоминает Л. Л. Раков,— академик Орбели пристально посмотрел на меня и неожиданно произнес:

— Наполеон, если не ошибаюсь, вторгся в Россию тоже в июне... двадцать четвертого июня?!»



Служебный подъезд, хоженный-перехоженный. Широкая лестница вверх, в эрмитажные залы, и узенькая лесенка вниз, в штаб МПВО. Обычно во время учений начальник штаба с хронометром в руке подсчитывал, сколько секунд требуется его бойцам, чтобы подняться по этой крутой лесенке, разойтись по залам, по дворам, взобраться на чердаки и крыши, занять каждому свой боевой пост.

В ночь на 23 июня, в 1 час 45 минут, совсем как на учениях, завывли сирены, совсем как на учениях, прозвучал по радио сигнал воздушной тревоги, совсем как на учениях, работники Эрмитажа разбежались по выставочным залам и служебным помещениям, взобрались на

крыши дворцовых зданий, замерли у подъездов и ворот. Светлое в эту белую июньскую ночь безмолвное небо простиралось над притихшим городом, над площадью, над Невой, еще спокойное, как вчера и позавчера; но и золотая полоса на востоке, и сумеречная дымка на западе равно таили угрозу.

Люди, стоя у ворот, у подъездов, глядели на небо. Каменные громады музейных зданий, казалось, поднялись во весь рост над огромной безлюдной Дворцовой площадью, над пустынным простором Невы, словно подставляя себя под смертоносные бомбы врага. Лишь сорок самых драгоценных полотен, шедевры среди эрмитажных шедевров, были перенесены из Картинной галереи в нижний этаж; подобно тому, как в долгие часы будущих воздушных тревог ленинградские бомбоубежища предоставят приют женщинам с детьми, старикам и старухам Ленинграда, так и сейчас под тяжелыми сводами Особой кладовой, самого надежного убежища в Эрмитаже, провели первую военную ночь, тесно прижавшись друг к другу, несколько трогательных итальянских женщин со своими младенцами на руках и несколько грустных стариков и старух из давнего, рембрандтовского Амстердама.

Вражеские самолеты в эту ночь не прорвались к городу и сбросили свои бомбы в залив. Утром в Эрмитаже, в служебном вестибюле, на доске, где вывешивались приказы, был приколот листок с коротким текстом:

*Приказ по Государственному Эрмитажу  
№ 170*

*23 июня 1941 г.*

*В ночь с 22 на 23 июня во время объявления воздушной тревоги по городу штаб МПВО, все команды и подразделения Государственного Эрмитажа проявили исключительную организованность и четкость в работе.*

*Объявляю благодарность составу штаба МПВО, политработникам, командирам и бойцам за высокую сознательность и самоотверженное выполнение гражданского долга.*

*Начальник объекта И. Орбели.*

Воспоминания о первой бессонной военной ночи вскопе потонут в апокалипсической круговерти дней и ночей, наполненных ревом самолетов, воем бомб, неистовым грохотом зениток. Один только маленький листок бума-

ги — приказ № 170 — сохранит память о первой боевой вахте, на которую вступили работники Эрмитажа. Провисев неделю на доске, листок этот ляжет в папку документов, помеченных июнем 1941 года, откроет новый период в истории музея, прочертит демаркационную линию между Эрмитажем мирных лет и Эрмитажем в годы войны.

Первая воздушная тревога и первый сигнал отбоя. Эрмитажники, взбудораженные ночной тревогой, не расходились. Утреннее радио передало первую сводку с фронтов. Сводка звучала успокоительно: «После ожесточенных боев противник отбит с большими потерями. Только в Гродненском и Кристынопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов...» Похоже на то, что все обойдется ценой малой крови, война в самом деле может закончиться в ближайшие дни...

Указаний из Москвы, из Комитета по делам искусств, все еще не поступало. Эрмитаж, следовательно, и сегодня в обычный час раскроет свои двери для посетителей. До вечера он был открыт и вчера, но после полудня уже никто не переступал порога Главного подъезда, никто уже не поднимался по мраморным ступеням Главной лестницы. В музейных залах одиноко сидели старушки — так всегда называли в Эрмитаже дежурных по залам, потому что они действительно были пожилыми женщинами; старушки сидели в золоченых креслах и тихонько плакали: война! Вечером старушки разбрелись плакать по домам. Сегодня чуть свет они вернулись в Эрмитаж и снова плакали: у кого уходил на войну сын, у кого — внук, у кого — зять... Повестки из военкомата вызвали на мобилизационные пункты и многих работников музея. Шел второй день войны...

## 2

Звонок из Москвы колоколом громкого боя отдался во всех зданиях гигантского музея — и в Новом Эрмитаже с гранитными атлантами на его подъезде, и в Зимнем дворце, на три стороны вытянувшем свои фасады, и в примыкающем ко дворцу Малом Эрмитаже — Ламотовом павильоне, и в фельтеновском Старом Эрмитаже, откуда перекинутый через Зимнюю канавку переход ведет в здание Эрмитажного театра. От Зимней

канавки до Адмиралтейского проезда — на всех этажах и во всех помещениях, в кабинетах научных сотрудников и в реставрационных лабораториях, в столярных мастерских и книгохранилищах библиотеки, в дворцовых галереях и в подсобных кладовых, и в резонирующей высоте просторных выставочных залов, и в заглушающей звук тесноте музейных запасников — везде, везде колоколом громкого боя отдался звонок из Москвы:

— Эвакуация!

Сокровищам Эрмитажа не впервые предстояло покинуть берега Невы. На протяжении своей 175-летней истории Эрмитаж уже пережил две эвакуации.

В сентябре 1812 года, когда Наполеон вступил в Москву и опасность стала угрожать Петербургу, из столицы были вывезены некоторые государственные ценности, хранившиеся в Эрмитаже. К тому времени «Эрмитаж Его Величества» по-прежнему оставался чисто дворцовым собранием первоклассных произведений искусства и мало отличался от недавнего «Пустынного убежища» Екатерины Второй, «Эрмитажа Ея Величества». Царские коллекции, отправленные подальше от Наполеона в срочно снаряженную «секретную экспедицию» через Ладожское озеро в район Петрозаводска, сопровождал реставратор Андрей Митрохин вместе с камердинером Андреевым и лакеем Трифионовым. Они были посланы «водяным трактом при картинах и прочих редких вещах Эрмитажа» и, «имея тщательное за оными наблюдение, сохранили препорученную им кладь от всякого повреждения».

Вторично эвакуационные мытарства выпали на долю Эрмитажа в 1917 году. Хотя «Императорский Эрмитаж», в стенах которого уже теснилось шестьсот тысяч вещей, после падения самодержавия перестал именоваться «императорским», мало что изменилось в его жизни при Временном буржуазном правительстве, расположившемся на короткий исторический бивак здесь же, по соседству, в царских покоях Зимнего дворца. Антинародное Временное правительство продолжало вести гибельную войну в интересах империалистической Антанты, и осенью 1917 года, незадолго до Октябрьской революции, Керенский распорядился ускорить вывоз из Петрограда в числе прочего дворцового имущества и эрмитажные коллекции, «имущество бывшего царя». 30

сентября и 20 октября часть музейных ценностей была отправлена в Москву и укрыта за стенами Кремля.

Через восемнадцать дней, 7 ноября 1917 года, сокровища Эрмитажа стали народным достоянием, но лишь спустя три долгих года, овеванных пороховым дымом гражданской войны, вновь воссоединились в стенах уже советского Эрмитажа его различные коллекции — и те, которые революционный народ бережно охранял в Красной Москве, и те, которые были сбережены революционным народом в Красном Петрограде. Они многократно возросли за два последующих мирных десятилетия, стали исчисляться не шестизначными, а семизначными числами, заняли не только залы и галереи Эрмитажа, но и большую часть Зимнего дворца. Расположенные в строго научном порядке, по-новому осмысленные, они радовали и учили миллионы людей.

Теперь эрмитажные сокровища надо опять готовить в дорогу.

Откуда взялись эти ящики, большие, малые, средние, эти сотни ящиков всех размеров, всех габаритов — и высокие, и плоские, и короткие, и длинные, — с уже нанесенными на их дощатые стенки черными литерами и цифрами таинственных шифров? Откуда и как, по маговению какого волшебного жезла возникли вдруг будто из-под земли эти слоноподобные рулоны упаковочной бумаги — и плотной, оберточной, и папиросной, и вощеной? Кипы прессованной стружки, тонны ваты, мешки с дефицитной пробковой крошкой, километровые полотна клеенки, — откуда они появились, откуда они взялись?

Сохранение музейных вещей — одна из главных, если не самая главная заповедь музейного работника. Своим особым «шестым» чувством обладают люди всех профессий: есть оно, свое, неповторимое, у хирурга и у литейщика, у авиатора и у землепашца, а у работников музея с годами вырабатывается то специфическое «хранительское чувство», которое даже тогда, когда они не вглядываются в показания термометров и психрометров, постоянно владеет всем их существом.

Еще в те годы, когда гусеницы гитлеровских танков впервые заскрежетали на дорогах Европы и не за одними лишь Пиренеями народы научились распознавать гул фашистских самолетов, в Эрмитаже детально про-

думывались все необходимые меры на тот случай, если зажженный Гитлером пожар второй мировой войны займется у наших границ. Кубометры и тонны упаковочных материалов стали заполнять вместительные музейные склады.

Какие детекторы способны определить, где кончаются напрасные опасения и где начинается оправданная предосторожность? После пакта о ненападении, заключенного с Германией, ничто, казалось, не должно было внушать опасений. «Паникеры!» — подчас иронизировал кое-кто, у кого Эрмитаж вновь и вновь спрашивал дополнительные фонды на доски, клеенку, фанеру, но горы порожних ящиков продолжали расти и расти. Уже не раз главные хранители отделов и несколько доверенных лиц в вечерней тиши пустых музейных залов проводили пробные упаковки. Дорожное снаряжение эрмитажных вещей годами хранилось в опечатанных складах музея подобно тому, как хранятся в армейских цейхгаузах шинели и полушубки, сапоги и валенки — неприкосновенный запас!

Пломбы и печати сорваны со складских помещений, и порожние ящики подняты на этажи. Ящики грохочут, пронзительно визжат на паркетах, когда их растаскивают по залам и галереям. Отошли в сторонку, чтобы не мешать грузчикам и плотникам, все, кто собрался в залах, — научные сотрудники и технические работники, экскурсоводы и реставраторы, хранители отделов и смотрительницы залов — эрмитажные старушки. Молча смотрят они на раскрытые и еще порожние ящики.

В Картинной галерее, в зале Рембрандта, перед изображением нидерландской крестьянки, оберегающей сон своего ребенка, молча стоят трое немолодых людей. Один из них — директор музея, ученый с мировым именем; другой — заведующий отделом истории западноевропейского искусства, человек энциклопедических знаний, чье имя с уважением произносят во всех художественных музеях мира; имя третьего знакомо лишь небольшому кругу музейных работников Ленинграда.

Ему, этому третьему, уже шестьдесят лет, но среди трех музейных деятелей, остановившихся перед «Святым семейством» Рембрандта, он не только старший по возрасту, он — единственный из старожиллов Эрмитажа, которому еще в начале века доводилось время от времени

вынимать эрмитажные полотна из их золоченых рам. Выходец из костромских крестьян, он впервые увидел Эрмитаж в 1907 году, начав работать в петербургской реставрационной мастерской, которая выполняла заказы императорского музея, и он был уже специалистом высшей квалификации, когда с 1912 года стал служить в самом Эрмитаже. Скольким полотнам великих мастеров продлил он бессмертие за три с половиной десятилетия! Он, старший реставратор станковой живописи Николай Дмитриевич Михеев, был одним из тех считанных людей, которые заблаговременно продумывали практические меры для наилучшего сбережения музейных вещей, если им придется в случае войны на какой-то срок покинуть Ленинград. И именно он разработал особую конструкцию ящиков, приспособленных для дальней транспортировки и длительного хранения эрмитажных картин.

Тяжелые ящики, сбитые из толстых, тщательно обструганных сосновых досок, внесли в зал Рембрандта, спустили на пол, сняли с них крышки. Флора в венке из полевых цветов, Даная, приподнявшись на своем ложе, амстердамский ученый, отведя взор от лежащей перед ним рукописи, с удивлением и испугом глядят вниз на пустую тару. «Святое семейство» уже вынуто из рамы, и Николай Дмитриевич Михеев собственноручно кладет творение великого Рембрандта на дно плоского ящика. Он закрепляет его деревянными планками, прокладывает в углах мягкие валики из оберточной бумаги, и только убедившись, что картину теперь ничто не сдвинет с места — ни толчки при погрузке, ни вагонная тряска, — он с трудом разгибает онемевшую спину.

В соседних залах тем временем вынимали из рам «Вакха» и «Портрет камеристки» Рубенса, «Юдифь» Джорджоне, «Марию Магдалину» и «Даная» Тициана, «Апостолов Петра и Павла» Эль Греко, «Мальчика с собакой» Мурильо, «Автопортрет» Ван Дейка, «Пейзаж с Полифемом» Пуссена, «Капризницу» Ватто, картины Веласкеса и Делакруа, Гальса и Давида, Караваджо и Гейнсборо, Тьеполо и Сезанна, тысячи полотен художников разных времен и разных школ. Картины, которые два десятилетия висели на стенах музея в строгом и последовательном чередовании эпох и стран, теперь смешались и, ожидая, чтобы их упаковали, беспорядочно

толпились в залах, подобно тому, как топчется пестрая, разноязычная толпа, ожидая посадки на вокзальных перронах трансконтинентальной магистрали. Но в этом хаосе картин был свой порядок, предусмотренный заранее составленным планом, зафиксированный в заранее сделанных описях, определенный заранее проставленными литерами и цифрами на ящиках, каждый из которых должен был вместить соответственное число точно поименованных холстов одного и того же размера.

Многое в будущих судьбах эрмитажных полотен зависело сейчас от качества упаковки, и не случайно долгие годы спустя о ее технологии, как и о конструкции ящиков, разработанной Н. Д. Михеевым, счел необходимым подробно рассказать историк искусства, стоявший рядом со старым реставратором, когда тот начал готовить в дорогу шедевры Картинной галереи. Перечисляя все принятые тогда предосторожности, профессор В. Ф. Левинсон-Лессинг пишет в научном издании музея — «Сообщениях Государственного Эрмитажа»:

«...Картины малого и среднего размера (примерно до 100×75 см) были упакованы в ящики с гнездами, образованными укрепленными вертикально на стенах ящиков параллельными рейками, обитыми сукном; картины прочно укреплялись между этими рейками посредством деревянных брусков. В одном ящике такого типа помещалось от 20 до 60 (в отдельных случаях и больше) картин.

Наиболее крупные по размеру картины были сняты с подрамников и накатаны на валы... На каждый вал накатывалось от 10 до 15 картин, переложенных бумагой. Зашитые в клеенку валы укладывались в прочные продолговатые ящики и укреплялись наглухо на специальных стойках. Ввиду длительности операции снятия больших картин с подрамников, неизбежности некоторого повреждения при этом кромок холста, а также возможного в некоторых случаях образования трещин, этот способ был ограничен только пределами строгой необходимости, то есть он был применен только для тех картин, размеры которых не дали бы возможности внести их без снятия с подрамника в вагон...»

Каждый ящик знал свои картины, каждая картина знала свой ящик. Но сколько бы ни было умелых рук в Эрмитаже, их, конечно, не могло хватить, чтобы в установленный железным графиком короткий срок уложить в ящики тысячи картин, чтобы осторожно, щадя

кромки старых полотен, снять с подрамников сотни огромных холстов и бережно, остерегаясь нанести им малейшую травму, накатать затем на валы. Свою помощь Эрмитажу предложили ленинградские художники. Люди разных художественных поколений — и пожилые, заслуженные ветераны русского искусства, и те, кто стал выставляться лишь в советские годы, и преданная искусству молодежь, еще учившаяся мастерству по ту сторону Невы, в Академии художеств, — все они, как к добрым знакомым и давнишним друзьям, подошли к эрмитажным картинам.

Перед многими из этих полотен им издавна доводилось проводить блаженные часы сосредоточенного одиночества, изведенные всеми художниками, которые с венециановских и федотовских времен развивали свое мастерство в Эрмитаже. В тридцатых годах XX века, как и в тридцатые годы XIX столетия, молодой художник благоговейно входил в залитый светом торжественный зал, привычно надевал заляпанный краской халат мастера, устанавливал у стены треногу переносного мольберта, и эрмитажный шедевр в безмолвном диалоге поверял ему с глазу на глаз тайну мазка и магию светотени. Но только сейчас, в предотъездной суতোлке и толчее, среди отверстых ящиков и початых рулонов оберточной бумаги, великие полотна предстали перед пришедшими в Эрмитаж художниками во всей своей первоизданной прелести и чистоте. Они предстали перед ними без золоченого кружева барочных и рокайлевых рам, в благородной наготе только что рожденного искусства, такими, какими они два, три, пять столетий назад представляли взору флорентийских, нюрнбергских, парижских мастеров, когда те, сделав кистью последний удар, отходили в глубь мастерской, чтобы увидеть оживший холст.

Как в час своего рождения, как в первые дни своей многовековой жизни, полотна стояли без рам, прислоненные к стенам и простенкам, и доверчиво подставляли себя уверенным рукам ленинградских художников. Руки, от которых так знакомо пахло олифой и скипидаром, переносили их к ящикам, вставляли в отведенные им гнезда, укладывали картины побольше в плоские ящики, накатывали снятые с подрамников огромные полотна на становившиеся все толще и толще деревянные валы, прокладывали между холстами бесцветную, безликую бумагу.

Единственное исключение было сделано для «Возвращения блудного сына» — последнего великого, быть может самого великого, творения уже слепнувшего Рембрандта. Оно было святыней человечества, порой ради него одного приезжали в Эрмитаж паломники со всего мира. Размер этой картины — 262 сантиметра высоты и 205 сантиметров ширины (5,37 квадратного метра!), но никто в Эрмитаже не решился бы снять ее с подрамника и накатывать на вал, подобно другим полотнам. Ящик из досок толщиной в три сантиметра, специально изготовленный для «Возвращения блудного сына», еще более увеличивал габариты огромной картины, и хотя все было заранее точно высчитано, никого не оставляла тревога, протиснется ли громадина ящика в широкие двери пультмановского вагона.

Упаковывали картины, большие и малые. Упаковывали пастели, писанные на шероховатой бумаге, на пергаменте, на картоне, на тонированном холсте, матовые бархатистые пастели, боязливые, как цветы, выращенные под стеклом оранжереи, и такие же нежные, как оранжерейный цветок: пастель обычно не вынимают из-под герметически прикрывающего ее стекла, пыльца ее красок осыпается при малейшем сотрясении, и даже легкого прикосновения к защищающему ее стеклу боится робкая пастель.

«...Особо тщательной упаковки,— пишет В. Ф. Левинсон-Лессинг,— требовали пастели; все они были упакованы в рамах и в застекленном виде; каждая заключалась в особые фанерные футляры и особо закреплялась в ящике, стекла заклеивались бумагой. Обитые фанерой ящики были проложены клеенкой.

Рисунки и гравюры были упакованы в специальных портфелях и коробках, в которых они хранились в музее... Обернутые в папиросную бумагу миниатюры укладывались в картонные коробки, обернутые бумагой, и помещались в такие же ящики».

Дощатые ящики, обитые изнутри фанерой и выложенные клеенкой, стояли повсюду — на всех этажах.

Ящики и сундуки были внесены и в те комнаты нижнего этажа, где провели первую военную ночь картины Леонардо да Винчи и Рафаэля, Рембрандта и Рубенса, в комнаты без окон и со стальными дверьми — в Особую кладовую Эрмитажа.

Тут всегда горит электричество, и при его равнодушном и холодном свете здесь буйным и жарким огнем всегда полыхает скифское золото. Золотые изделия скифов, найденные в древних могильниках на юге России, присоединились к прославленной Сибирской коллекции Петра Первого, и во всем мире нет собрания более богатого, чем эрмитажная коллекция памятников скифского искусства.

Рядом, за стеклом других витрин — золото античной Греции. Безвозвратно погибла статуя Афины Паллады, изваянная Фидием, но ее лицо, творение гениального ваятеля, в миниатюре повторенное известным древнегреческим ювелиром, и поныне глядит на нас с золотых подвесок, занесенных ненароком две с половиной тысячи лет назад из афинской мастерской в кипарисовый гроб кургана Куль-Оба. Многие величественные образы навсегда утраченной человечеством античной монументальной скульптуры обязаны своим бессмертием миниатюрным вещам, сделанным из золота остроглазыми ювелирами Древней Греции, чудесам античной микро-техники, изысканной и утонченной эллинской бижутерии, бесподобная коллекция которой хранится в Эрмитаже, в Особой кладовой.

Тот же холодный электрический свет отражают миллионы разноцветных трепещущих огоньков драгоценности XVII, XVIII, XIX веков, созвездия алмазов и бриллиантов, сверкающие отточенными гранями и растекающиеся Млечным Путем по темному бархату витрин соседнего зала.

«Галерея драгоценностей, ныне называемая Особой кладовой,— пишет академик А. Е. Ферсман, вдохновенный поэт камня,— создает полное представление об одном из прекраснейших искусств — об ювелирном деле. В отделке безделушек, вееров, табакерок, несессеров, часов, бонбоньерок, набалдашников, перстней, колец и т. д. проявлено столько вкуса, такое понимание декоративных особенностей камня, такое мастерство композиции, такая виртуозность техники, что, любясь этими вещами, признаешь их скромных, забытых ныне авторов за достойных собратьев великих художников, произведения которых висят рядом на стенах Картинной галереи Эрмитажа».

Сохранился архивный документ, составленный в Эрмитаже вскоре после отбытия из Ленинграда эшелонов с музейными собраниями. О том, как были упакованы

вещи Особой кладовой, в этом пространном отчете сказано немного:

«Ювелирные изделия: каждый предмет упакован в папиросную бумагу и вату; более крупные предметы сверх того обернуты подушками из стружки. Предметы упакованы в сундуки, набитые стружкой».

Всего только три строки о шести сутках, которые заняла упаковка Особой кладовой, о шести днях и шести ночах без отдыха и сна! Светлые июньские дни сменялись светлыми июньскими ночами, на смену коротким белым ночам приходили длинные солнечные дни, но шесть суток непрерывно горело электричество под сводами Особой кладовой Эрмитажа. Шуршала папиросная бумага, и гасло обернутое в нее скифское золото. Шуршала папиросная бумага, и в маленьком белоснежном комке затухало живое золото античных мастеров. Шуршала папиросная бумага, и меркли бриллианты, исчезающие — созвездие за созвездием — с темного бархата распахнутых витрин.

Немногочисленным хранителям Особой кладовой помогали научные сотрудники из других отделов музея. Шесть суток провели за стальными дверьми несколько молодых женщин, не позволяя себе на лишнее мгновение задержать восхищенный взгляд на вещах, которыми женщины украшали себя с незапамятных времен: попросту у женщин, упаковывавших эти безделушки, не было лишней минуты, чтобы в непосредственной близости, в собственных руках полюбоваться подвесками или запястьями афинских щеголих или серьгами, браслетами и кольцами непревзойденных российских модниц — Елизаветы Петровны и Екатерины Второй. Они не могли себе позволить хотя бы на секунду прикинуть к пальцу кольцо с солитером желтого или зеленого цвета, с редким агатом или уникальным рубином, с изумрудом, с кошачьим глазом — упаковка каждого кольца занимала всего несколько секунд, но одних только колец и перстней предстояло упаковать более десяти тысяч.

Быстрые пальцы заворачивали в папиросную бумагу вещь за вещь, обкладывали каждую вещь ватой и подушечками из стружки, складывали их в набитые стружкой сундуки. Сундук заполнялся за сундуком, баул за баулом, ящик за ящиком.

Другие ящики, сделанные из таких же толстых досок, но еще порожние, были втащены в Двенадцатиколонный зал, который тогда назывался Монетным залом,

и подняты оттуда по чугунной лестнице на высокую, поддерживаемую колоннами открытую галерею. Там ожидала их группа эрмитажных экскурсоводов, присланных на помощь ученым-нумизматам.

Любой экскурсовод за годы своей работы в Эрмитаже износил немало ботинок, водя за собой посетителей музея по традиционным экскурсионным маршрутам, но сюда, на высокую галерею Монетного зала, в «святая святых» отдела нумизматики, никто из экскурсоводов ни разу до сих пор не поднимался. Они поднялись сюда впервые и остались здесь на шесть дней и на шесть ночей.

Не так-то просто было сложить и увезти нумизматические коллекции даже в 1812 году, когда Минц-кабинет при Императорском Эрмитаже вмещал лишь первые поступившие в него собрания редких монет и немногочисленные ценные находки, сделанные при раскопках древних городов. Но с годами и десятилетиями в эрмитажном Минц-кабинете, приобретаем характер национального нумизматического хранилища, постепенно объединились многие всемирно известные коллекции — и купленные еще Петром для Кунсткамеры, и собранные в разное время крупнейшими русскими и иностранными коллекционерами. Нескончаемым потоком стекались в Эрмитаж редкостные монеты, раскопанные трудолюбивыми археологами и найденные удачливыми кладонскаателями. Нумизматические коллекции музея считались несметными уже в дореволюционные годы, а в 1941 году одна только систематическая коллекция отдела нумизматики, без дублетов, насчитывала триста тысяч монет.

В специальных шкафах покоились плоские, обтянутые сукном планшеты с монетами, планшет над планшетом — нумизматические пласты разных исторических эпох. Хранители отдела нумизматики обозначали крестиком очередной порядковый номер на листах длинного эвакуационного списка, и экскурсоводы вынимали тот или иной планшет, на котором лежали золотые, серебряные, бронзовые, медные кружочки со всевозможными изображениями и надписями на чеканных аверсах и реверсах, маленькие, иногда совсем крошечные металлические диски, некогда служившие человеку всеобщим эквивалентом и ставшие бесценными памятниками прошлого — былых царств и былых культур.

Те же эпохи и те же культуры, каждая из которых так мощно представлена в залах музея многообразными творениями человеческого гения, проходили сейчас перед эрмитажными экскурсоводами в калейдоскопическом мелькании монет, лежавших аккуратными рядами на суконном ложе планшетов. В каждом планшете надо было один ряд монет отгородить от другого жгутами туго свернутой папиросной бумаги, накрыть каждый планшет слоями ваты, облачить его в плотную бумажную обертку. Шесть суток — и ни часу больше! — было дано на то, чтобы упаковать монеты нескольких тысячелетий, сотни тысяч монет. И в тот же срок надлежало закончить упаковку других коллекций отдела нумизматики — собрания медалей и собрания орденов.

«Вместе с ученым-нумизматом Алексеем Андреевичем Быковым, — заносит в свой дневник В. В. Калинин, один из научных сотрудников, работавших в те дни в отделе нумизматики, — упаковываю золотые монеты древних восточных царств и античных Греции и Рима... Сегодня солнечный день... Работаем при открытых окнах... Мирно летают стрижи и голуби, свившие свои гнезда в лепных карнизах под кровлями дворца».

На следующей странице дневника В. В. Калинин записывает:

«Вчера работу на короткое время прервала ночная тревога. Мы, постовые, теперь уже без первоначального волнения поднимаемся в свои будки на крыше Зимнего дворца... Сегодня я перешел к упаковке золотых монет, медалей и памятных знаков России. Даже и сейчас, в сутолоке предэвакуационных работ, с восхищением оглядываешь это поистине сказочное художественное богатство... Белая ночь снова опускается на город. Все кажется тихим и безмятежным, как в мирные дни, но... нет! Высоко в небе чуть покачиваются аэростаты воздушного заграждения».

Воркование голубей на подоконнике и резкий гул самолетов, барражирующих над Ленинградом, голоса вчерашних мирных дней и звуки сегодняшнего дня войны врывались сквозь открытые окна в залы музея и растворялись здесь в сплошном, непрерывном и единообразном шуме предотъездной упаковки. Война грохотала еще вдалеке от Ленинграда, и слабым отголоском ее далекого громохання был в Эрмитаже неумолчный

стук молотков, заколачивающих уже готовые к погрузке ящики. Горький дым пожарищ стлался еще за сотни километров, кислотатый пороховой дым обволакивал еще далекие поля сражений, и война в Эрмитаже пахла пока нафталином, которым пересыпали исфаханские и кашгарские ковры, пахла пока керосином, которым опрыскивали бумагу, прежде чем проложить ее накатываемые на валы многометровые шпалеры из дворцов последних королей Франции.

Война уже гремела не второй и не третий день, шел уже шестой день войны, уже немало работников Эрмитажа, взяв в руки оружие, сражалось на фронтах, а в музее продолжалась безостановочная, казавшаяся нескончаемой упаковка вещей. Занятые ею люди, понятия не имевшие о том, что еще доведется пережить каждому из них и их Эрмитажу, проходили в эту первую военную неделю первые испытания войны.

«Все мы находились на казарменном положении, — рассказывает Алиса Владимировна Банк, заведовавшая отделом Византии. — Работы велись круглосуточно. В довоенные годы искусственного освещения (за исключением сторожевого света) в выставочных залах не было, но белые ночи позволяли ни на час не прерывать упаковку. Ящики, в которые укладывались вещи, стояли на полу, и все время приходилось работать внаклонку. Вскоре у многих из нас появилась своего рода профессиональная болезнь — носовое кровотечение. В одной из комнат стояло несколько раскладушек — приляжешь, закатаешь голову, пока кровотечение не прекратится, и снова бегом к ожидающим тебя ящикам. Не спали мы сутками, но сколько суток можно не спать? Выбившись из сил, прикорнешь под утро на полчаса, кто где — на той же раскладушке или на диване, на тобой же упакованном ящике или на сдвинутых стульях в канцелярии. Сознание мгновенно выключится, провалишься в пустоту, а полчаса или час спустя какой-то внутренний толчок, какой-то нервный импульс снова включит сознание, вскочишь, отряхнешься — и опять за дело».

Дела хватало всем — и именитым ученым, и скромным уборщицам, и экскурсоводам, и плотникам — все что-то упаковывали. Из-за Невской заставы, с Государственного фарфорового завода имени Ломоносова приехали опытные упаковщицы. Они поглядели вокруг — на старинный русский фарфор, на изделия всех знаменитейших европейских мануфактур, и принялись, как у се-

бя в заводском цехе, орудовать стружкой и ватой, упаковывая уникальные собрания эрмитажного фарфора.

В зале, которому его двадцать гранитных колонн дали название Двадцатиколонного, вместе с хранителями отдела античного искусства хозяйничали скульпторы, архитекторы и эрмитажный столяр-краснодеревец; нарезавший неструганые сосновые бруски, чтобы распорками прочно закрепить в ящиках чернофигурные и краснофигурные вазы. Отформованные гончарами и расписанные вазописцами античной древности, они издавна обосновались в Эрмитаже, и Двадцатиколонный зал был их царством, царством античных ваз, какого не знал и не знает мир, и царила в нем Кумская ваза, прекраснейшая из прекрасных, *Regina vasorum*, Царица ваз.

«Кумская ваза,— пишет профессор А. А. Передольская в книге «Сокровища Эрмитажа»,— действительно одно из уникальных произведений античного искусства. В ней все замечательно: и стройная, изысканная, словно выточенная, совершенная форма, и иссиня-черная, отсвечивающая металлическим блеском глазурь, покрывающая поверхность вазы, и богатое декоративное убранство ее... Художник-керамист, создавший вазу... подражал сосудам из драгоценных металлов — бронзы, серебра или золота, таким, например, как серебряная ваза из Чертомлыкского кургана».

Серебряную Чертомлыкскую вазу, столь же знаменитую во всем мире, как и ее керамическая царственная сестра, подготавливали к транспортировке тут же неподалеку, в другом зале античного отдела Эрмитажа. Ее упаковка заняла особенно много времени. Серебро, прочеканенное двадцать четыре века назад, стало не менее, а может быть, даже более хрупким, чем прошедшая через тысячелетия глина, чем венецианское стекло и севрский фарфор. Чтобы уберечь Чертомлыкскую вазу в пути, ее, как и другие полые сосуды из хрупких материалов, решено было заполнить доверху мелкой пробковой крошкой. Но этому воспротивилась сама Чертомлыкская ваза.

В той же книге «Сокровища Эрмитажа», в очерке, посвященном Чертомлыкской вазе, А. П. Манцевич пишет:

«Ваза имеет форму амфоры: на нижней части ее тулова три крана... Изнутри в отверстия кранов и в

горлышко впаяны сита, через которые процеживалось вино; наливавшееся в амфору».

Вероятно, набрасывая эти строки для книги, изданной в 1949 году, Анастасия Петровна Манцевич, старший научный сотрудник Эрмитажа, вспоминала о том, как в июне 1941 года она и ее коллега Евгения Борисовна Иванова пострадали из-за этого проклятого ситечка, впаянного в горлышко вазы. Чертомлыкскую вазу они заполняли вдвоем чуть ли не полдня, чайными ложечками всыпая пробковую крошку через маленький, образованный временем пролом в верхней части сосуда. Нельзя было, конечно, винить античного мастера за то, что он не предусмотрел обстоятельств, при которых люди будут вынуждены заполнять изготовленный им сосуд не благородным соком виноградных лоз, а толченой корой пробкового дуба, но уже половина богов эрмитажного Олимпа сошла со своих постаментов, уже три четверти мраморных императоров Древнего Рима стояли в своих ящиках, а две усталые женщины деревенеющими руками все сыпали и сыпали пробковые опилки в Чертомлыкскую вазу.

В одном конце музея упаковывали каменную Венеру, античную статую богини любви, выменянную Петром Первым у Римского папы на мощи святой Бригитты, ту самую «белую дьяволицу», чья ослепительная нагота пугала бородатых бояр; в другом конце музея паковали «Восковую персону с платьями» — выполненный скульптором Карло Растрелли «вощенный портрет» Петра Первого. Старший хранитель отдела истории русской культуры снял с Восковой персоны парадное платье, в котором царь присутствовал на коронации Екатерины, голубой кафтан, камзол, короткие штаны, рубашки из тонкого голландского полотна.

«Раздев Восковую персону,— рассказывает Владислав Михайлович Глинка,— впервые увидев ее без одежды, я смог в полной мере оценить изумительное мастерство Растрелли. Я убежден, что скульптор выполнил ее по слепкам с тела мертвого Петра, настолько индивидуально переданы в дереве особенности тела — длинные, исхудавшие ноги, впавшая грудь, вздувшийся живот, детали строения рук и ног.

Я вынул крепления и шарниры и разъял Восковую персону на части. Подобрал несколько ящиков, я упаковывал отдельно платья, отдельно деревянные части — торс, руки, ноги — и отдельно части из воска: голову,

ступни ног и кисти рук. На ящиках были сделаны надписи:

ВОСКОВАЯ ПЕРСОНА — НЕ КИДАТЫ!

В одном конце музея люди хлопотали над гигантским девяностопудовым сооружением из серебра, отлитым и прочеканенным двести лет назад мастерами петербургского Монетного двора, над саркофагом Александра Невского, после революции перенесенным в Эрмитаж из собора Александро-Невской лавры; в другом конце музея люди сгрудились вокруг «Скорчившегося мальчика» Микеланджело, изваянного четыре века назад великим итальянским скульптором для капеллы Медичи во флорентийской церкви Сан-Лоренцо; мраморный мальчик, казалось, еще более скорчился, чтобы уместиться в заготовленном для него дощатом ящике с двойными стенками.

Теперь уже только по черным литерам на стенках ящиков — «ОВ» (отдел Востока), «ОИЗЕИ» (отдел истории западноевропейского искусства), по условным шифрам отделов и отделений и по выведенным рядом с ними цифрам, соответствующим таким же номерам в поящичных ведомостях, можно было узнать местонахождение вещей, еще вчера или позавчера стоявших или висевших в залах музея. Теперь одни лишь эвакуационные описи знали топографию эрмитажных сокровищ — в каком ящике рисунки Калло, а в каком — среднеазиатские изразцы, где итальянская майолика и где сасанидское серебро, где статуя Аменемхета III и где «Поцелуй» Родена, где бронзовый котелок из Герата и где ваза Фортуни, где мечи крестоносцев и где ятаганы сарацинов, где дверь из мавзолея Гур-Эмир и где бюро работы Рентгена, где древние византийские иконы и где старонемецкие пивные кружки, где коптские ткани и где фламандские гобелены, где камей Гонзага и где маленькая женская фигурка, вырезанная из бивня мамонта, — «Костенковская Венера», «сорокатысячелетняя женщина», «Венера древнекаменного века». Музейный каталог воплотился в поящичные ведомости.

В Картинной галерее шла к концу упаковка вынутых из рам полотен, но одна картина продолжала висеть в своей раме на своем месте. Это было «Снятие со креста» Рембрандта. Размеры картины требовали, чтобы ее накатали на вал, однако состояние холста и красоч-

ного слоя вызывало опасение, не повредит ли им эта операция, достаточно неприятная и в более простых случаях.

У «Снятия со креста» собрался авторитетный консилиум. В нем приняли участие и Николай Дмитриевич Михеев, и Федор Антонович Каликин, ученый-реставратор, рыжебородый, шестидесятипятилетний, и другие крупнейшие специалисты по живописной и технической реставрации картин. Каждому из них была досконально известна интимная, самая сокровенная сторона жизни множества эрмитажных полотен, и не только как бессмертных творений гениальных художников, но и как сбыкновенных тканых холстин, на которых под гнетом годов идет мучительное прозябание красок и лака,— от пагубных последствий этого естественного химического процесса они всю жизнь оберегали мировые шедевры. Сейчас им предстояло решить вопрос, повредит или не повредит рембрандтовскому шедевру механический процесс избранного для него способа упаковки, можно ли все-таки или все-таки нельзя накатывать на вал «Снятие со креста». На чувствительнейших весах многолетнего личного опыта были взвешены все доводы «за» и все доводы «против», прежде чем прозвучало совместное, последнее и решающее: «Можно!»

Еще одну пустую раму повесили на старое место. На старые места возвращали каждую раму, как только из нее вынимали картину, и к концу недели уже не картины, а рамы от картин длинными рядами заполняли эрмитажные стены, ярус за ярусом, иногда в три-четыре яруса восходя к высоким дворцовым потолкам. Совсем оголенными, даже без рам, скрадывающих плоскую пустоту стен, остались лишь несколько квадратных метров в залах итальянского искусства: это были места, где ранее висели итальянские примитивы, имеющие обрамление на самой доске. Не стали разлучать с их золоченым обрамлением и три маленьких полотна, три великие картины: мадонн Леонардо да Винчи и мадонну Рафаэля. «Мадонна Литта», «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Конестабиле» были упакованы вместе со своими рамами.

Ящики с уже уложенными картинами и вещами по мере того, как упаковщики то тут, то там заканчивали работу, со всех этажей музея стаскивались и сносились

вниз, подтягивались к подъездам. Одни ящики весили тонну или даже больше; другие весили пол или четверть тонны; не так уж велик иной ящик — с монетами, например, или медалями,— и не так уж с виду тяжел, а вес его — центнеры. Чтобы поднять, передвинуть, перенести эти центнеры и тонны, в Эрмитаж прибыли матросы и солдаты.

Не впервые переступали они эрмитажный порог. По установившейся с годами традиции каждое воскресенье подразделения красноармейцев и краснофлотцев строевым шагом подходили к подъезду Эрмитажа; здесь молодой комвзвода передавал своих бойцов экскурсоводу, сам становился рядовым, обычным посетителем музея, и все они часами ходили по залам, любовались эрмитажными сокровищами, набирались знаний, учились любить искусство. Началась война, и прежде чем уйти в бой, на передовую, прежде чем выйти в море на подводных лодках и миноносцах, красноармейцы и краснофлотцы пришли в так полюбившийся им Эрмитаж и стали одним из боевых подразделений многолюдной рати, объединившей в эти дни эрмитажников-кадровиков и эрмитажников-добровольцев.

«Академик Орбели руководил этой армией, занятой труднейшим делом,— говорит Николай Тихонов, описывая эвакуацию Эрмитажа в книге военных очерков «Ленинград принимает бой».— Он был во всех залах, он сам все укладывал». Так оно и могло показаться Николаю Тихонову, когда он увидел в загроможденном ящиками Эрмитаже академика Орбели, облаченного в синюю спецовку, с приставшими к ней клочьями ваты, со стружкой, запутавшейся в его взлохмаченной бороде.

Директор Эрмитажа и в самом деле был повсюду — во всех залах, во всех этажах. Из Галереи 1812 года он прибегал в Картинную галерею, из зала Рембрандта мчался в зал французского искусства, чтобы и здесь проверить, вешают ли на стены пустые рамы,— он утверждал, что это намного ускорит развеску картин после их возвращения из эвакуации. А через какие-нибудь минуты его видели уже в отделе Востока, где он, сам давно позабывший о сне, гневно кричал на еще не присевшую за сутки сотрудницу: «Спать! Два часа спать! Выполняйте приказание!» Затем он оказывался в залах античного искусства и, собственной рукой перепробовав устойчивость каждой распорки, убеждался, что мра-

морные статуи прочно закреплены в своих ящиках. Заглянув к себе в кабинет, чтобы «накоротке» посоветоваться с Михаилом Борисовичем Храпченко, председателем Комитета по делам искусств, и другими руководящими работниками, приехавшими из Москвы в связи с эвакуацией Эрмитажа, он снова исчезал, уносился в столярную мастерскую, на склад, в штаб МПВО. Он стремительно поднимался наверх, в зал, где упаковывали майолику, и медленно шагал рядом с матросами, переносившими ящики с сасанидским серебром. Он шагал вплотную к ящикам, не отводя от них взгляда, почему-то уверенный, что именно им грозит особая опасность, что именно эти ящики будут непременно уронены, понимая всю смехотворность таких опасений и все же не в силах их побороть, потому, может быть, что блюда и кувшины Сасанидов были его давней научной страстью. Он шел рядом с матросами до самого вестибюля, где все доставляемые сюда ящики опломбировывались, отмечались в одной ведомости и заносились в другую, и снова его синяя спецовка мелькала по залам, где, казалось, он был повсюду, где, казалось, он сам все упаковывал.

«Почти неделю длилась упаковочная страда,— вспоминает старший научный сотрудник Эрмитажа Татьяна Михайловна Соколова,— и все дни этой недели слились для меня воедино в сплошном перестуке молотков, топоте красноармейских сапог и матросских ботинок, в скрипе салазок и вальков, на которых перекачивались тяжести, и вместе с тем в памяти осталось ощущение какой-то необычайной тишины, порожденной, возможно, особой внутренней собранностью каждого из нас,— не потому ли в этом грохоте и шуме мы часто ловили себя на том, что разговариваем шепотом. Вот так, шепотом, и разносилось вдруг по залам: «Уносят раку Александра Невского»... «Уносят «Блудного сына»...»

В последний день недели унесли «Вольтера».

Вольтер, опершись на подлокотники своего кресла, как бы приподнялся навстречу подошедшим к нему матросам. Он бы и поднялся, встал, сам перешел бы в ожидавшую его внизу дорожную карету, если бы его дряхлое тело не тяжелил мрамор, из которого он был изваян. Матросы в серых парусиновых робах помогли мраморному Вольтеру добраться до подъезда: они подложили вальки под каменное кресло, подкатали сидящего в

кресле Вольтера к парадной лестнице Нового Эрмитажа, и, окрутив мрамор пеньковыми тросами, стали медленно спускать тяжелую статую по гладкому деревянному настилу, покрывшему все три широких лестничных марша.

С двух сторон этого пологого пандуса, ухватившись за концы пеньковых канатов, чтобы сдержатъ скольжение многопудовой скульптуры, упираясь ногами в свободные от досок края ступеней, осторожно, шаг за шагом, спускались по лестнице балтийские моряки. А рядом с ними переступал со ступеньки на ступеньку сутулящийся человек с взлохмаченной бородой, в синей спецовке с приставшими к ней клочьями ваты.

«Был июньский поздний вечер,— рассказывает Т. М. Соколова, вместе со многими сотрудниками Эрмитажа выбежавшая на высокие галереи парадной лестницы, чтобы проводить в эвакуацию Вольтера.— Золотые лучи закатного солнца падали на мраморное лицо фернейского мудреца. То ли это была причудливая игра света, то ли всего лишь игра моего воображения, но мне показалось, что Вольтер ожил, что только сейчас его губы сложились в эту улыбку, что теперь он улыбается не так, как всегда, что он своей улыбкой говорит нам:

— Не печальтесь, я вернусь».

В вестибюле дощатую карету мраморного Вольтера — громадный ящик с уже поставленной в него скульптурой Гудона — опломбировали и занесли в подорожный список. Около полуночи грузовая машина, взобравшись колесами на тротуар, остановилась возле эрмитажного подъезда и откинутым бортом коснулась ступней гранитных атлантов.

От подъездов Эрмитажа отходили машины, нагруженные опломбированными ящиками. Грузы сопровождали бойцы с винтовками в руках и музейные работники с погрузочными ведомостями в картонных папках.

Грузовики сворачивали на Невский проспект. «Нет ничего лучше Невского проспекта...» По Невскому проспекту, где окна домов были уже заклеены бумажными крестами, по Невскому проспекту, с которого так хорошо была видна еще не зачехленная Адмиралтейская игла и на котором все еще дыбились клодтовские кони, по Невскому проспекту, такому прекрасному июньской белой ночью, двигалась колонна грузовиков, держа путь к товарной станции Ленинград-Октябрьская.

Бронированный вагон вместил сверхшедевры и сверхсокровища Эрмитажа. Остальные сокровища музея разместились в четырехосных пульманах. Эшелон специального назначения состоял из двадцати двух товарных вагонов, пассажирского вагона для музейных работников, сопровождавших эрмитажные ценности, и еще одного вагона для бойцов военной охраны. В середине и хвосте железнодорожного состава на открытых платформах стояли зенитные орудия и пулеметы с поднятыми вверх стволами.

От товарной станции Ленинград-Октябрьская литерный эшелон отошел на рассвете 1 июля. Он отошел без традиционного паровозного гудка: уже четыре дня, с 27 июня, гудки паровозов, как и заводские гудки, в Ленинграде разрешалось подавать только для оповещения жителей о воздушной тревоге.

Мимо окон вагона проплывали станционные здания. На уплывавшей назад платформе товарной станции толпились провожающие эшелон ленинградцы — сотрудники Эрмитажа, и москвичи — руководители Комитета по делам искусств. Последним, кого увидели отъезжающие эрмитажники, был их директор. С непокрытой головой он стоял у фонарного столба в конце платформы, стоял и плакал.

Люди, прильнувшие к вагонным окнам, отдали Эрмитажу многие годы жизни — кто десять, кто пятнадцать, кто двадцать лет, а иные и того больше. Они были уверены, что им отлично известны все противоречивые черты, все особенности характера их директора, академика, начисто лишенного каких-либо внешних атрибутов академичности, — он всегда был разный и всегда оставался самим собой. Он умел впадать в ярость из-за какого-нибудь пустяка, из-за этикетки, случайно отклеившейся от фарфорового блюда; он рычал от удовольствия при виде глиняного черепка, привезенного в Эрмитаж из Кармир-Блура. Никто из эрмитажников не сомневался в его отзывчивости и широкой доброжелательности, но он сам не скрывал своего злопамятства, когда дело касалось вреда, нанесенного кем-либо Эрмитажу. Его видели и неистово гневным и беспредельно мягким, веселым и мрачным, чем-то огорченным или чему-то радующимся, но никто не видел его равнодушным. Всегда бурно проявлявший свои чувства, он вдруг

предстал перед всеми в первый день войны неожиданно сдержанным и спокойным и остался таким все последующие дни, даже тогда, когда без усталости носился по зданиям эвакуируемого музея, неизменно оказываясь там, где он непременно нужен был в данную минуту. Полный бодрости и оптимизма, он рассказывал вчера по своему кабинету, куда приглашал по одному семнадцать вызванных им сотрудников, и каждому из этих семнадцати задавал один и тот же вопрос: можете ли вы, Алиса Владимировна, согласны ли вы, Николай Дмитриевич, на недолгое время покинуть Ленинград, чтобы отвезти в назначенное место эрмитажные вещи и побыть с ними месяц, два — до окончания войны. Он говорил, что понимает, как тяжело покидать Ленинград и, улыбаясь, повторял: месяц, два — это ведь недолго, — и сердился, когда, давая согласие, пожилые и молодые женщины украдкой вытирали слезы.

Без гудка тронулся эшелон, медленно набирая скорость, и из окна вагона отъезжающие эрмитажники впервые увидели своего директора еще и другим: он плакал. С непокрытой головой стоял он у станционного фонаря, стоял и плакал.

Таким директором Эрмитажа увидели только те из уезжавших семнадцати, кто до отхода эшелона оставался у вагонных окон. Многие же, едва войдя в вагон и опустившись на жесткие скамьи, почувствовали, что более не в силах противиться одолевающей их усталости. «Я прилегла на скамью и тотчас же заснула, — рассказывает старший научный сотрудник Ксения Александровна Ракитина. — Сквозь сон я услышала голос Иосифа Абгаровича: «Не будите... Скажете потом, что я попрощался», ощутила прикосновение чьих-то губ, но раскрыть глаза была не в силах. Когда я проснулась, поезд был уже далеко от Ленинграда».



Два паровоза тянули эшелон специального назначения. Впереди, проверяя путь, мчался третий, «контрольный» паровоз.

Куда направляются двадцать два тяжелогруженных товарных вагона? Этого не знал ни один из работников музея, сопровождавших эрмитажные сокровища. Не знал этого и начальник эшелона. В его командировочном удостоверении было глухо сказано:

«Дано заведующему отделом западноевропейского искусства профессору Государственного Эрмитажа тов. Левинсону-Лессингу Владимиру Францевичу в том, что он командирруется по вопросам работы Государственного Эрмитажа».

Но куда он командирруется? Об этом знал, вероятно, академик Орбели. Об этом знали в Центральном Комитете партии, об этом знали в Совете Народных Комиссаров, об этом знали руководители Комитета по делам искусств. Знали о маршруте литерного состава, отошедшего 1 июля от станции Ленинград-Октябрьская, и в центральной диспетчерской Наркомата путей сообщения. На узловых станциях дежурные получали распоряжения по железнодорожному телеграфу и немедленно отправляли прибывший литерный эшелон до следующей узловой станции.

Зеленые огни светофоров...

На станции Череповец эшелон задержался ровно настолько, сколько потребовалось времени, чтобы набрать воды паровозам. Значительно дольше эшелон простоял в Вологде. Может быть, в этом старом русском городе предстоит сокровищам Эрмитажа переждать войну? Прогудел головной паровоз, и эшелон продолжил свой путь в глубь необъятной Советской страны.

За окнами вагона менялись пейзажи, мелькали станции и полустанки. Стоявшие на запасных путях составы с людьми и грузами, эвакуированными из Прибалтики, пропускали обгонявший их литерный эшелон, шедший из Ленинграда; бывало, он и сам, переведенный на запасной путь, пропускал встречные воинские эшелоны, спешившие на запад.

Уходили на запад составы с накрытыми брезентом орудиями и танками на платформах, с теплушками, в которых то грустно, то весело пела красноармейская гармонь. Их провожали долгим взглядом люди на станциях и полустанках, в придорожных поселках и деревнях, и те же люди удивленно глядели вслед торопящемуся на восток странному товарному составу, охраняемому зенитными пушками и пулеметами.

«Куда же все-таки мы едем? Конечный пункт нашего пути никому из нас не был известен,— рассказывает в своих воспоминаниях старший научный сотрудник Татьяна Давыдовна Каменская.— Приближаясь к любой большой станции, мы думали, что вот уже прибыли на место, начинали приводить себя в порядок, одевались,

чистили запылившиеся в дороге вещи единственной на весь вагон платяной щеткой, оказавшейся у аккуратиста Алексея Андреевича Быкова.

Позади остался Киров...

Скоро Пермь...

В Перми нас тоже никто не встретил, и мы вернулись в вагон. Эшелон двинулся дальше — куда?»

Миновали уже четвертые сутки, но в маете дорожных сновидений все еще длилась и длилась бессонная неделя в Ленинграде. Проснувшись на вагонной полке, невозможно было сразу перенестись из эрмитажного зала в тесное купе вагона: то ли это колеса стучат, то ли заколачивают все те же ящики...

Эшелон останавливался вдали от вокзалов. У пульманов расхаживали часовые. Эрмитажники — кто помоложе — бегали за газетами и кипятком, или свежую газету и крутой кипяток приносили им бойцы из поездной охраны. Сводки с фронтов читали вслух. Они были неутешительны, эти немногословные и неопределенные сводки, и казалось, что фронт придвигается к Ленинграду еще быстрее, чем это было на самом деле. Да, радостного мало; горькое успокоение только в сознании того, что полмиллиона лучших вещей Эрмитажа уже вне опасности.

Среди уральских гор два паровоза влекли товарный состав с грузом особой важности. Утром 6 июля мимо вагонных окон проплыли пригороды Свердловска. На товарной станции эшелон встречали представители свердловских партийных и советских организаций. Подошла колонна порожних грузовиков. Разгрузку начали с бронированного вагона.



А в Эрмитаже опять упаковывали. Опять визжали пилы, опять стучали молотки.

Вся экспозиция Эрмитажа была увезена — тысяча сто восемнадцать тяжелых ящиков, размещенных в двадцати двух четырехосных вагонах, полмиллиона вещей, и это число даже превышало цифру, предусмотренную эвакуационным планом. Но в Эрмитаже оставалось еще свыше миллиона единиц музейного хранения, составлявших его запасные фонды. В так называемых «запасниках» хранилось множество первоклассных произведений искусства, редчайших памятников мировой

культуры. К этим великолепным вещам всегда обращались ученые и знатоки, ими всегда обновлялись постоянные выставки Эрмитажа, из них создавались временные выставки, на которых они достойно окружали эрмитажный шедевр — порою на равных правах, порою как блистательная свита.

Вещи из запасных кладовых и картинохранилищ обычно появлялись в экспозиционных залах порознь или небольшими группами — впятером, вдесятером; тысячами, десятками тысяч высыпали они теперь в уже пустые залы музея, когда было принято решение эвакуировать весь Эрмитаж. И опять предстояло уложить десятки тысяч, сотни тысяч эрмитажных вещей во многие сотни ящиков.

Эвакуации всего Эрмитажа потребовало резкое ухудшение обстановки на фронте.

Молниеносный захват Ленинграда рассматривался гитлеровским генштабом как важнейшая задача «блицкрига». Танки фельдмаршала фон Лееба рвались к Ленинграду, уже приближались к его дальним подступам, и на помощь Красной Армии, сдерживавшей натиск врага, поднялся, перекинув винтовку через плечо, трудовой Ленинград. Люди самых мирных профессий становились в боевой строй дивизий народного ополчения. На асфальте городских площадей ополченцы твердили азы воинского искусства.

В народное ополчение уходили и сотрудники Эрмитажа. Для того, чтобы проводить своих товарищей, работники музея, на час прервав упаковку, собрались в Эрмитажном театре. Кто в чем был — в спецовках, в мятых халатах, подвязанных бечевкой, они сидели на обитых красным бархатом диванах дворцового театрального зала. Речи звучали как клятвы. А потом одни ушли в казармы вновь формирующейся ополченской дивизии, остальные вернулись к прерванной работе: упаковывать вещи и — по приказанию штаба МПВО — таскать песок на чердаки, на лестничные площадки, в залы.

По-прежнему ворковали голуби на подоконниках. Сквозь окна, выходящие на Дворцовую площадь, доносился строевой топот марширующих взводов и рот, резкие выкрики военных команд. На Дворцовой площади, ставшей одним из учебных плацев народного ополчения, подразделения ополченцев проходили учебный курс штыкового боя, метания гранат, борьбы с вражескими танками. Окна во дворы Зимнего были открыты, и оттуда,

снизу, в залы музея неслись другие звуки — визгливая какофония плотничьих и столярных инструментов: упаковочной тары уже не хватало, ее спешно сколачивали тут же, на зеленой травке дворов.

Как и в первую неделю войны, упаковывать вещи помогали многочисленные друзья Эрмитажа. Тех, кто был уже в армии или вместе с ополченцами-эрмитажниками еще маршировал на Дворцовой площади (или поблизости — на Марсовом поле), сменяли в Эрмитаже другие художники, другие архитекторы, другие добровольные помощники. А на рабочие места ушедших на войну сотрудников музея становились — порой тоже ненадолго, до ухода на фронт — эрмитажные ученые, которых война досрочно возвращала в Ленинград из дальних научных экспедиций.

В первых числах июля из Армении вернулся начальник кармир-блурской археологической экспедиции профессор Эрмитажа Борис Борисович Пиотровский. Свернув раскопочные работы и покинув затихший Кармир-Блур, он снова очутился в обстановке, поначалу чем-то напомнившей ему суету готового сняться с места большого археологического лагеря: всюду он видел в беспорядке раскопочные вещи — их укладывали в ящики его друзья по отделению Кавказа, всюду громоздились кучи песка, всюду торчали воткнутые в песок привычные археологу лопаты.

Прежде всего он подошел к витринам с памятниками Урарту, найденными в красной глине Кармир-Блура. Витрины были пусты. На выгоревшем сукне — темные круги, овалы, квадраты, плоский след объемных вещей, слепой негатив, нанесенный на сукно слабой проекцией косых лучей северного солнца, и по этим обобщенным силуэтам он легко узнавал славные трофеи обеих своих предвоенных экспедиций. И в других залах витрины тоже пусты, из них словно вынута душа. На своих местах высятся стеклянные колпаки, под каждым из них деревянный кубик — на этом стояла крашенная средневековая мадонна, на этом — знаменитый реликварий... Пустые витрины, пустые рамы, опустевшие кабинеты научных сотрудников; все в Эрмитаже занято не тем, чем занимались до войны, не угадаешь, где кого найдешь, за каким делом встретишь сегодня старых друзей.

Своими старыми друзьями он, Борис Пиотровский,

в сущности еще молодой человек, вправе считать почти всех старых эрмитажников. Для них он, тридцатичетырехлетний, так и остается Борей, как обращались они к юноше, которому едва исполнилось шестнадцать и который каждый час, свободный от школы, проводил в залах Древнего Египта или в читальном зале эрмитажной библиотеки. Кое-кто помнит его и еще более юным — долговязым подростком, пристрастившимся к истории. Вместе с группой таких же любознательных мальчишек его водил по историческим местам Петербурга — Петрограда недавний школьный учитель, а тогда, в 1923 году, опять студент, на этот раз уже не историко-филологического, а восточного факультета Александр Юрьевич Якубовский.

Профессора Якубовского он нашел в запасниках отдела Востока, у ящиков, в которые тот укладывал и пересыпал нафталином молитвенные коврики из Бухары. У набитых стружкой ящиков повстречался он и с Наталией Давыдовной Флиттнер, доктором исторических наук, своим первым учителем в Эрмитаже.

Старенькая, опирается на тросточку... Пятый десяток шел ей уже семнадцать лет назад, когда она однажды, во время школьной экскурсии, обратила внимание на юношу, чьи вопросы свидетельствовали о том, что история Древнего Египта ему знакома не только по учебнику для средней школы. Наталия Давыдовна предложила Боре Пиотровскому приходить в Эрмитаж — она будет с ним заниматься.

Одна из первых в России женщин — историков искусства, Наталия Давыдовна любила называть себя «старой просветчицей». Неутомимой просветчицей она стала с той самой поры, когда после революции начала работать в Эрмитаже, — до революции сюда на штатные должности женщины не допускались. В советском Эрмитаже ей довелось стать пионером научно-просветительской работы музея, организовывать первые экскурсии рабочих и красноармейцев, первые выездные выставки на фабриках и заводах, первые занятия школьников в эрмитажных залах.

Их было двое — Боря Пиотровский и Коля Шолпо, два мальчика, с которыми занималась в Эрмитаже Наталия Давыдовна, и оба были «ушиблены Древним Египтом». Впоследствии их обоих считали предтечами тех эрмитажных школьных кружков, которые не раз пополняли научный коллектив Эрмитажа. Но из этих

двух быстро взрослевших мальчиков верен египтологии остался только Николай Шолпо; Бориса Пиотровского увлекли на другую дорогу наставники студенческих лет. «Египет далеко, когда вы еще туда попадете,— убеждал его Николай Яковлевич Марр,— а Кавказ... Займитесь Арменией, не пожалеете!» А Иосиф Абгарович Орбели (еще не директор Эрмитажа, еще заведующий отделом Востока) увлеченно рассказывал ему, как вместе с академиком Марром он некогда упорно искал материальные памятники погибшей культуры Урарту.

Урартские боги оказались милостивы к археологу Пиотровскому. В позапрошлом году под красной глиной Кармир-Блуря он отрыл руины древней крепости Тейшебаини.

Дорогие его сердцу кармир-блурские находки! Он сам расставлял их в эрмитажных витринах...

Витрины пусты...

В залах кучи песка...

Воткнутые в песок лопаты...

И Иосиф Абгарович — не такой, как всегда.

Обычно директор Эрмитажа радостно встречал начальника кармир-блурской экспедиции, а сейчас он даже не обернулся, когда Пиотровский, в десятый, должно быть, раз заглянув в директорский кабинет, наконец застал его на месте. Стоя у стола, Орбели на кого-то кричал в телефонную трубку и, не слушая невидимого собеседника, гневно доказывал ему, что леса, воздвигнутые для окраски фасада, не могут оставаться в такое время у стен музея, что они невероятно опасны в пожарном отношении, грозил, что если завтра же утром их не начнут убирать, он завтра же утром поедет в Смольный.

Оборвав разговор на полуслове, Орбели бросил трубку на рычаг и только теперь заметил Пиотровского. Он обнял его, коротко расспросил о Кармир-Блуре и, по-суровев, вдруг произнес: «Немцы, Борис, под Псковом».

Зазвонил телефон. Выслушав кого-то, Орбели со злостью стукнул кулаком по столу и тихо произнес:

— Вы — советский человек? Если вы советский человек, вы должны понять, что леса надо убрать не через неделю, а завтра.

Пиотровский смотрел на директора Эрмитажа: такой же, такой же, как всегда, Иосиф Абгарович...

Из кабинета они вышли вместе. Пиотровский уже знал, в какую кладовую ему идти, чем ему заняться.

Вернулась в Ленинград и нимфейская экспедиция.

С эльтигенского маяка «нимфейцам» пришлось переселиться в село Эльтиген на второй день войны: маяк давал створ проходящим кораблям, и пребывание на нем посторонних запрещалось военным положением. Но с отъездом в Ленинград начальник экспедиции Марк Матвеевич Худяк вынужден был повременить: он не мог оставить в Эльтигене античные памятники, так счастливо найденные нынешним летом.

Раскопочных вещей собралось много, и их следовало во что бы то ни стало доставить в Эрмитаж. Было уже известно (об этом Худяка предупредили в райкоме), что поезда забиты разъезжающимися из Крыма курортниками, и начальник экспедиции тревожился, удастся ли ему погрузить свой драгоценный багаж. Он решил отослать его почтой, но нужного числа посылочных ящичков в селе не нашлось: двадцать две почтовые посылки ушли из Эльтигена лишь 2 июля. На следующий день выехали в Ленинград и археологи.

«До Керчи мы добрались на лошадях, пароконной линией,— рассказывает Варвара Михайловна Скуднова, научный сотрудник отдела античного искусства.— Алые маки, встречавшие нас в мае, уже отцвели; кругом простиралась выжженная солнцем степь, одна горькая полынь.

В Керчи и дальше, на пересадочных станциях, вокзалы, перроны, билетные и багажные кассы осаждались толпами людей. Поезда, даже скорые, часами простаивали на полустанках. Мы тащились то дачным поездом, забитым уезжающими с юга москвичами, уральцами, сибиряками, то в тамбуре вагона с эвакуированными больными евпаторийского костнотуберкулезного санатория, то на тормозной площадке товарного вагона. Хорошо еще, что мы ехали налегке: с нами были только золотые монеты боспорского чекана, найденные под руинами Нимфея и зашитые в пиджак Худяка; все остальное — почти полтонны груза! — ушло почтой.

Подъезжая к Ленинграду, мы не сомневались, что почтовые посылки с нимфейскими вещами ожидают нас в Эрмитаже. Мы приехали, но посылок не было. Марк Матвеевич поспешил на почтамт, но ему только и могли ответить, что посылки пока не прибыли, а когда придут — неизвестно: война...»

Нимфейцы приехали тогда, когда в вестибюлях Эрмитажа снова выстраивались в ряды опломбированные

дошчатые ящики с шифрами всех музейных отделов. Здесь же отдельной внушительной очередью тянулись к подъездам и другие ящики, не менее тяжелые и громоздкие, но с шифрами Академии наук и многих научных учреждений, доверивших Эрмитажу увезти в глубокий тыл и охранять там во время войны их коллекции, их архивы. Здесь были тридцать ящиков с архивами русской науки, с бумагами, исписанными юным Михайлой Ломоносовым, и с бумагами стареющего Ивана Павлова; здесь были ящики с архивами всей русской литературы — архивными материалами Пушкинского дома; здесь были ящики с нотными автографами Моцарта и Россини, Глинки и Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Верди, Мусоргского; здесь были сорок два заколоченных и опечатанных ящика, вместившие личную библиотеку Пушкина, вчера перевезенную с Мойки, из мемориального музея — последней квартиры поэта; здесь были и ящики, в которых покоилась уникальная коллекция музыкальных инструментов — старинные скрипки и клавикорды, флейты и рожки, не так давно переселившиеся из Эрмитажа в Институт театра и музыки и снова вернувшиеся теперь в Эрмитаж, чтобы вместе со своими былыми соседями по эрмитажным залам пуститься в совместное эвакуационное странствие.

Ящики «свои», ящики «чужие», а дорога одна, тот же эшелон...



Вещи из запасников все еще готовились в путь, когда погожим июльским днем эрмитажники, провожая совсем другой эшелон, столпились возле подъезда у Зимней канавки. Сюда, к служебному подъезду, в котором не было ни одного ящика, подъехали порожние грузовики и пустые автобусы.

«Объявили эвакуацию детей. Я еду с Государственным Эрмитажем. Я очень рад».

Эту строку из дневника десятилетнего Вити Шолпо приводит Л. В. Антонова в своих записях, посвященных эвакуации из Ленинграда детей работников Эрмитажа и их пребыванию под Пермью в годы войны.

Война меняла профессии. До войны Любовь Владимировна Антонова вела в Эрмитаже работу со школьниками, заведовала Школьным кабинетом. Началась

война, и она, как и все научные сотрудники, день и ночь упаковывала музейные вещи.

«В большом двухсветном зале мы заворачивали в папиросную бумагу хрупкие терракотовые статуэтки,— пишет Л. В. Антонова.— Работали мы молча. Куда-то далеко ушли обыденные дела и заботы. Неотступная тревога владела всеми: неужели враг дойдет до Ленинграда?»

Однажды, июльским утром, меня пригласили присутствовать на экстренном заседании партийного бюро.

— Первая очередь ценностей нашего музея уже вывезена,— докладывал секретарь партийной организации В. Н. Васильев.— Подготовка второй очереди будет на днях закончена. Не ослабляя этой работы, мы должны в ближайшие дни так же срочно и организованно вывезти из Ленинграда еще один бесценный фонд — детей сотрудников музея. Дело это чрезвычайно ответственное. Руководство группой эвакуируемых детей я предлагаю поручить заведующей Школьным кабинетом Антоновой.

Через два дня мы уехали — сто сорок шесть детей, их воспитатели и я, назначенная РОНО заведующей будущим интернатом».

Дети уехали. Родители вернулись в Эрмитаж — и те, кто жил в эрмитажном здании еще на полуказарменном положении, и те, кто совсем переселился в боковые комнаты Старого Эрмитажа, уже называемые казармами МПВО.

В середине июля над Ленинградом нависла прямая угроза вторжения врага. Псков был занят. Ожесточенные бои начались на Карельском перешейке. «Кексгольмское направление»... «Псковское направление»... Враг подошел к Луге. Сирены воздушной тревоги все чаще выли в Ленинграде.

Эрмитажники продолжали готовить к отправке второй эшелон и, подобно другим ленинградцам, выполняли все, что требовала от них война. Они оборудовали бомбоубежища, ездили рыть окопы, занимали боевые посты в часы воздушных тревог.

У недавнего начальника нимфейской археологической экспедиции, ставшего теперь заместителем начальника штаба МПВО, была еще и своя особая забота: посылки, отосланные из Эльтигена, до сих пор не прибыли. В перерывы между двумя тревогами он назва-

нивал на почту и неизменно получал один и тот же ответ: «Прибудут — известим».

Посылки прибыли в последнюю минуту, когда уже не оставалось времени, чтобы раскрыть их и убедиться, что все дошло в добром порядке. Двадцать два фанерных ящичка в том виде, в каком их доставила почта, перевязанные шпагатом, с сургучными печатями, Худяк аккуратно уложил в два больших дощатых ящика. Он укладывал свои нимфейские антики в эрмитажном, похожем на пакгауз, вестибюле. Еще два ящика опломбировали и погрузили на машину, стоявшую у подъезда.

Опять у эрмитажных подъездов останавливались десятки порожних машин и отъезжали, нагруженные тяжелыми ящиками. Матросы-подводники, три недели назад помогавшие мраморному Вольтеру спуститься по мраморному трапу, сейчас уже воевали на своих кораблях. Им на смену, чтобы помочь Эрмитажу, пришли бойцы-ополченцы.

Второй эшелон отбыл из Ленинграда 20 июля. В двадцати трех вагонах он увозил тысячу четыреста двадцать два ящика, более семисот тысяч эрмитажных вещей. Их сопровождали четырнадцать сотрудников музея.

В Эрмитаже начали готовить третий эшелон<sup>1</sup>.

## 4

Служебный подъезд, хоженный-перехоженный... Поднимешься по лестнице, и сразу же перед тобой доска

---

<sup>1</sup> В книге А. В. Карасева «Ленинградцы в годы блокады», изданной в 1959 году Институтом истории Академии наук СССР, дается следующая справка:

«Во второй половине июля Октябрьская ж. д. начала перевозку ценнейших экспонатов из Эрмитажа...» (стр. 94).

В действительности, во второй половине июля, когда, как правильно указывает А. В. Карасев, из Ленинграда вывозилось имущество многих научных институтов и учреждений культуры, Октябрьская железная дорога отправляла уже второй эшелон с эрмитажными вещами (запасные фонды музея), а полмиллиона ценнейших экспонатов (вся экспозиция Эрмитажа) были эвакуированы из Ленинграда еще 1 июля и с 6 июля находились в Свердловске.

Сжатым сроком, в течение которых удалось осуществить эвакуацию Эрмитажа, как видит читатель, не поверят впоследствии даже авторы специальных исторических монографий.

для служебных извещений. Обведенное траурной каймой объявление висит сегодня на этой доске. Кнопками приколот белый лист, и на нем фотография в черной рамке. Черной тушью обведена фотография, вынутая из личного дела научного сотрудника Эрмитажа археолога Сергея Николаевича Аносова. «Младший лейтенант Аносов пал смертью героя,— выведено тушью под фотографией.— Вечная память героям, погибшим в боях за свободу, честь и независимость нашей Советской Родины!»

Первая похоронная, первый в Эрмитаже траурный бюллетень...

Рядом с траурным бюллетенем, на той же доске, где до войны вывешивались извещения о научных заседаниях, лекциях, производственных совещаниях, висит «Боевой листок» сотрудников Эрмитажа. «На окопы!» — зовет «Боевой листок». «На окопы!» — под Лугу... «На окопы!» — под Кингисепп...

Сотни тысяч ленинградцев ежедневно отправлялись тогда «на окопы»; руки, привыкшие делать совсем другие дела, рыли противотанковые рвы и траншеи, тянули проволочные заграждения, строили огневые точки. Орудовать шанцевым инструментом научились и многие эрмитажники.

Ежедневно в райком партии передавалась сводка из Эрмитажа: на оборонительных работах находится столько-то человек — двадцать, тридцать, сорок... Ежедневно собиралось экстренное заседание партбюро: как выкромить эти двадцать, тридцать, сорок человек из числа работников музея? Эрмитаж мог похвалиться чем угодно, только не физической мощью членов своего коллектива, большинство которого составляли люди преклонного возраста, престарелые ученые, пожилые женщины.

Двадцать седьмого июля в Эрмитаже была принята очередная телефонограмма на имя директора музея и секретаря партийной организации:

*«Предлагается из числа трудоспособных мобилизовать на оборонительные работы 75 человек.*

*Всех мобилизованных обеспечить: лопатами, кирками, мотыгами, ломами, пилами, топорами.*

*Каждый мобилизованный должен иметь запас продуктов питания на 5 дней, а также: кружку, ложку, котелок, одну пару белья, теплую одежду и деньги.*

*Предупредить всех мобилизованных о нахождении на работах не менее двух недель.*

*Сбор 28/VII с. г. в 8 часов утра в Государственном Эрмитаже».*

В последующие две недели партбюро не собиралось. Все члены партбюро были «на окопах» — под Лугой, под Новгородом. Семьдесят пять эрмитажников влились в полумиллионную армию ленинградцев-землекопов, которая героически, зачастую под бомбежками, под артиллерийским и минометным огнем возводила оборонительные сооружения на подступах к Ленинграду.

«Наша лужская группа работала неподалеку от станции Толмачево,— рассказывает Ада Васильевна Вильм, в годы войны бессменный ученый секретарь Эрмитажа.— Многим из нас эти места были знакомы с детства: сюда мы ездили по ягоды, по грибы. Сейчас мы копали траншеи.

Когда мы приехали — с лопатами, кирками, топорами — неумолчный гул артиллерийской канонады доносился еще издалека. Потом мы привыкли и к свисту снарядов, и к близким разрывам.

Копали мы до тех пор, пока не стало известно, что наш участок обходят фашистские танки. Вечером нам приказали возвращаться в Ленинград.

Толмачево было уже занято.

Вдали полыхало зарево пожара — горела Луга.

Мы уходили всей нашей группой, которую возглавлял Владимир Николаевич Васильев, секретарь партийной организации Эрмитажа. Всю ночь мы блуждали по лесу и только под утро вышли к станции, от которой отходил последний поезд, переполненный такими же землякопами, как мы».

В выгоревших рубахах, в пыльных, облепленных глиной комбинезонах, с вещевыми мешками за плечами, с лопатами и кирками в руках, эрмитажники, почерневшие от грязи и солнца, вернулись в свою эрмитажную казарму. В тот же день было созвано партбюро. Оно собралось для того, чтобы обсудить сообщение коммунистки Матье о ходе упаковки вещей для третьего эшелона.

Крупнейший советский египтолог, эрмитажница с двадцатилетним стажем, Милица Эдвиновна Матье была назначена заместителем директора Эрмитажа в первые дни войны (до того она заведовала отделением

Древнего Востока). Она стала заместителем директора по научной части, но занималась сейчас только вопросами эвакуации.

Профессор Матье доложила партийному бюро: упаковка идет, хотя трудности возрастают.

— Не хватает упаковщиков, и своих и пришлых,— сказала она,— не хватает рук, не хватает и материалов.

Но люди, собравшиеся в парткоме, минувшей ночью бродили в лесу под Толмачевом, они видели, как горит Луга, и, вернувшись в музей, решительно потребовали: темпы, темпы!

«Это был очень трудный этап эвакуационных работ, в известном смысле — самый трудный,— вспоминает М. Э. Матье.— Какого бы напряжения нам ни стоили июньский и июльский эшелоны, но в августе мне порой представлялось, что их подготовка не была таким уж необыкновенно трудным делом. Все, что могло понадобиться для эвакуации, было заготовлено задолго до войны. Помню, у меня в кабинете чуть ли не два года стояло в углу несколько длинных струганых палок. «Зачем они вам?» — недоумевали заходившие ко мне молодые сотрудники и все норовили их выбросить, считая, что они нарушают декорум моего кабинета. Я отшучивалась: пусть постоят. Я сама не верила, что придет время, когда мы накатаем на эти палки ткани коптского Египта, отправляя их на Урал.

Все было заготовлено впрок. Но на два эшелона мы израсходовали пятьдесят тонн стружки, три тонны ваты, шестнадцать километров клеенки,— к августу все наши запасы иссякли. Правда, доски для ящиков у нас еще имелись, но плотничать становилось некому. Я часами обзванивала всевозможные торговые базы, магазины, разные пищеторги, справляясь, нет ли у них тары из-под яиц, из-под папирос, из-под чего угодно...»

— Темпы, темпы, темпы! — все настойчивее и требовательнее звучал общий голос на созываемых ежедневно заседаниях партийного бюро.— Дорог каждый день, дорог каждый час, дорога каждая минута!

Был уже упакован триста пятьдесят первый ящик, когда 30 августа директор Эрмитажа неожиданно приказал приостановить работы. Накануне вражеские войска перерезали последнюю железную магистраль между Ленинградом и страной. Вчера утром два поезда еще успели проскочить станцию Мга, днем она была

занята прорвавшимися вперед гитлеровскими танками. Свыше двух тысяч вагонов с имуществом многих предприятий остались на забитых путях Ленинградского железнодорожного узла.

Эрмитажные грузы, приготовленные для третьего эшелона, не проделали даже короткого пути от музея до товарной станции. Они остались в вестибюле Главного подъезда Зимнего дворца, громоздясь между двумя рядами белых колонн и заполняя всю длинную галерею вплоть до блестящего позолотой широкого марша Главной лестницы. Последние художники, помогавшие эвакуировать Эрмитаж, покинули Главный подъезд.



В саду перед Зимним дворцом деревья пожелтели, но не теряли листьев. Радоваться бы такому редкостному сентябрю, его удивительно солнечным дням, его лунным ночам, пурпуру и янтарю, в который оделись деревья, ярким краскам осенних цветов. Но цветов уже не было в ленинградских садах и скверах — глубокие рвы защитных щелей изрезали клумбы и газоны, осколки снарядов скашивали листву в парках и садах; днем и ночью ленинградцы с тревогой глядели на предательски ясное небо.

Ленинградский сентябрь сорок первого года... Фашистские армии охватили город со всех сторон — с юга, с юго-запада, с севера. 4 сентября начался обстрел города из дальнобойных орудий. 6 сентября вражеской авиации впервые удалось прорваться к Ленинграду. 8 сентября был взят Шлиссельбург. С этого дня Ленинград оказался блокированным с суши, а движение судов от Ладожского озера по Неве было парализовано. Наступил первый из девятисот дней блокады Ленинграда.

В тот день, 8 сентября, фашистская авиация совершила на Ленинград два массированных налета. Самолеты, появившиеся над городом в 18 часов 55 минут, сбросили 6327 зажигательных бомб. Пожары вспыхнули во всех концах города — 178 пожаров. Их гасили пожарные команды, группы самозащиты, тысячи ленинградцев. Еще длилась борьба с огнем, когда в 22 часа 35 минут над Ленинградом появились тяжелые бомбардировщики и сбросили 48 фугасных бомб весом по 250—500 килограммов. Не все фашистские самолеты верну-

лись на свои базы, но под обломками домов в этот вечер погибло двадцать четыре ленинградца и сто двадцать два было ранено.

Эрмитажную команду МПВО подняли по тревоге в седьмом часу вечера. За час до полуночи мощный взрыв потряс Дворцовую набережную. Фугасная бомба ударила в жилой дом, стоявший на набережной в непосредственной близости от Эрмитажа. К очагу поражения были вызваны и бойцы эрмитажной команды МПВО. Они увидели дом в развалинах. При свете луны рухнувший фасад представил им в трагическом разрезе мирный бытовой уклад нескольких ленинградских семей — абажур, раскачивающийся на ветру, перекосившаяся картина над диваном, детское пальтишко на вешалке в коридоре... Эрмитажники — с санитарными сумками через плечо, в металлических касках и брезентовых рукавицах — разбирали груды битого кирпича и обгорелого дерева, раскапывали живых и мертвых, оказывали первую помощь раненым.

На следующий день к городу вновь прорвались восемнадцать самолетов. Снова эрмитажники взбирались на дворцовые крыши, разбегались, засунув топоры за брезентовые кушаки, к своим пожарным постам на чердаках, на лестничных площадках, в залах, где на истоптанном паркете еще валялись обрывки бумаги и ключья стружки — следы недавних эвакуационных работ.

«Эвакуация отшумела, началась наша жизнь на крышах, — рассказывает научный сотрудник Эрмитажа Павел Филиппович Губчевский. — Воздушные тревоги теперь перестали быть кратковременными эпизодами, как в те месяцы, когда готовилась эвакуация музея; фашистская авиация теперь уже прорывалась к Ленинграду, ее налеты учащались, воздушные тревоги становились все более длительными, и в первый период блокады мы буквально не слезали с крыш.

Сюда, на крыши Зимнего дворца и Эрмитажа, поднимались и бойцы группы самозащиты, готовые погасить, сбросить с крыш зажигательные бомбы, если они упадут на наши здания; сюда поднимались и мы, вышковые наблюдатели. У нас были две наблюдательные вышки — одна над Гербовым залом Зимнего, другая возле просветов в крыше Нового Эрмитажа, этих больших стеклянных фонарей, через которые дневной свет поступает в центральные залы Картинной галерей. Выш-

ковые наблюдатели должны были оповещать штаб МПВО об очагах поражения в зоне видимости.

На крышах дежурили и молоденькая кладовщица Курашева, и старейший реставратор Каликин, экскурсовод Лежоева и хранитель Особой кладовой Ерохова, археолог Скуднова и кровельщик Гаврилов. Неоценимую помощь оказал нам этот старый Гаврилов. В Зимнем дворце он служил с дореволюционных времен, состоя в должности смотрителя крыш. Он знал не только каждую пядь необозримой дворцовой кровли, но и каждый чердачный закоулок. А во время воздушных бомбардировок и артиллерийских обстрелов от чердаков во многом зависела судьба эрмитажных залов.

Боевое крещение мы получили в первые же дни блокады, когда фашистская авиация начала совершать массированные налеты на Ленинград. Рвались бомбы, грохотали взрывы, гремела зенитная артиллерия. Бомбы не попадали в наши здания, но осколки сыпались на дворцовые крыши, дырявя кровлю и пока шадя нас. Я стоял на своей вышке у Больших просветов и видел, как в разных районах города занимались многочисленные пожары. Зловеще багровело небо. Дольше других — пять с лишним часов — бушевал пожар где-то к югу от нас, за Обводным каналом. Густые черные клубы дыма, подсвеченные снизу пламенем, сплошной завесой застилали небо. Я не знал тогда, что это горят Бадаевские продовольственные склады, обугливаются мешки с мукой, плавится сахар.

С той же вышки мне довелось наблюдать и страшный пожар неподалеку от Эрмитажа, по ту сторону Невы. Фашистские самолеты сбросили зажигательные бомбы на Петропавловскую крепость и на соседствующий с ней сад Народного дома. Зажигалки скатывались с крепостных стен и догорали на песчаной береговой полосе у Невы. Потом раздался оглушительный взрыв, и пламя мгновенно охватило «американские горы», огромное аттракционное сооружение в саду Народного дома. Стало светло, как днем. Ветер тянул через Неву в сторону Зимнего. Вскоре наши крыши покрылись слоем сажи и пепла, черными кусками покоребившейся краски, которой были окрашены «американские горы». Ажурный металлический каркас — все, что осталось от «американских гор», — долго еще напоминал нам об этой ночи, одной из огненных ночей, проведенных на крышах Эрмитажа».



Голуби больше не ворковали на подоконниках. Они покинули обжитые карнизы дворцовых фасадов и улетели в неведомые края, улетели туда, где не рвутся бомбы, не свистят снаряды, не грохочут зенитки. Горький дым пожарищ и кислотоватый пороховой запах проникали теперь и в эрмитажные залы, багровые блики по ночам ложились на наборные паркеты, пробегали по холодному мрамору стен, отражались и множились в высоких дворцовых зеркалах.

Новые похоронные приходили в Эрмитаж, новые траурные бюллетени появлялись на доске объявлений. Погиб, обороняя станцию Мга, научный сотрудник Владимир Кесаев,— давно ли, вернувшись из Средней Азии, он увлеченно рассказывал о раскопках в мавзолее Гур-Эмир! Погиб в боях ополченец Борис Рабинович,— давно ли он окончил аспирантуру в Эрмитаже! Погиб, защищая Петергоф, египтолог Николай Шолпо...

Вражеские войска заняли уже и Петергоф и Пушкин. Ленинград был готов к уличным боям. Его площади, проспекты, набережные оцетинились надолбами, противотанковыми и противопехотными сооружениями. Дома превратились в доты, окна — в бойницы. Дворцовая площадь считалась одним из пунктов возможной высадки воздушного десанта. На окружающих ее зданиях были установлены пулеметы для стрельбы по снижающимся парашютистам<sup>1</sup>.

Лунные ночи стояли в Ленинграде. Но луна заглядывала теперь не во все окна Эрмитажа. Деревянные щиты изнутри закрыли выходящие на Зимнюю канавку тринадцать окон Лоджий Рафаэля — застекленной аркады, построенной в XVIII веке архитектором Кваренги по образцу лоджий папского дворца в Ватикане. На холстах, покрывающих стены и своды этой галереи, с поразительной точностью воспроизведены бесподобные фрески, выполненные Рафаэлем для ватиканских лоджий. Уникальные копии, запечатлевшие в XVIII веке все более разрушавшийся оригинал, за два с половиной столетия, с екатерининских времен, лишь единожды были сняты со стен; произошло это в середине XIX века,

---

<sup>1</sup> Вскоре пулеметы с крыш Зимнего дворца были сняты. Оберегая художественные памятники Ленинграда, командование Ленинградского фронта приказало снять огневые точки и с других исторических зданий.

когда возводилось здание Нового Эрмитажа, включившее в себя Лоджии Рафаэля.

Отделять еще раз холсты от стен и сводов и свертывать их в рулоны представлялось делом весьма рискованным. Роспись Лоджий не была вывезена из Эрмитажа, она осталась на стенах и сводах, но тринадцать окон старой галереи наглухо зашили толстыми досками и заложили снизу доверху мешками с песком.

Непотревоженной осталась и подлинная фреска Фра Анджелико. Как раз в 1941 году ей исполнилось пятьсот лет. Пять веков прошло с той поры, когда, в начале 1440-х годов, она была написана водяными красками по сырой штукатурке в монастыре св. Доминика под Флоренцией, и шесть десятилетий минуло с того года, когда она, отторгнутая от стены монастырской трапезной, совершила путешествие из Флоренции в Петербург. Железными скобами прикрепили ее тогда к эрмитажной стене. Новое путешествие могло бы стать гибельным для пятисотлетней фрески.

Фреска Фра Анджелико была прикреплена к стене в одном из залов итальянской живописи, обращенном окнами на Неву, — только бумажные полоски, наклеенные на оконные стекла, защищали этот зал от снарядов, от осколков, от ударов воздушной волны. Обшитый досками песчаный бруствер — четыре метра в высоту и три метра в ширину — поднялся между окном и фреской, вплотную прикрыл ее своей пологой непробиваемой спиной.

В залах второго этажа оставалось еще несколько музейных уникамов, особая хрупкость или чрезмерная тяжесть которых делали невозможным их вывоз из Ленинграда и даже перестановку в другое, более безопасное место в самом Эрмитаже. Остальные же вещи эрмитажники принялись спешно сносить в залы первого этажа и в подвалы. Вызванные в Эрмитаж эксперты-артиллеристы произвели необходимые обмеры и расчеты: они пришли к заключению, что своды и стены нижних этажей и тем более подвалов дворцовых зданий способны противостоять разрушительной силе самой мощной авиационной бомбы и самого крупного артиллерийского снаряда.

Новая профессия появилась у эрмитажников: упаковщики стали такелажниками. С верхних этажей они спускали вниз и размещали в наиболее надежных местах остававшиеся еще не упакованными музейные вещи, мно-

готысячные запасные фонды. Они стаскивали по лестницам тяжелые мраморы, бронзы, художественную мебель. Каменные столешницы, торшеры, громадные декоративные вазы из малахита, порфира, лазурита, яшмы они разбирали на части и уже потом сносили в первый этаж.

Опустевшие в июле залы античного искусства стали бомбоубежищем для самоцветного уральского камня, граненного русскими мастерами, и для штабелей картин, которые в зале Юпитера окружили постаменты эвакуированных богов, и для средневековых алебард и пик, спущенных по крутой внутренней лестнице из эрмитажного Арсенала прямо в зал Лебеда. В подвале под залом Афины решено было разместить неэвакуированный фарфор.

Каменный пол подвала предварительно засыпали песком. Песок брали из песчаной горы, которая выросла посреди одного из эрмитажных дворов еще в начале войны. Низко осевшая баржа вошла тогда с Невы в Зимнюю канавку и пришвартовалась у ворот Эрмитажа. Буксирный пароходик увел пустую баржу, и разгружавшие ее работники музея, студенты Консерватории и комсомольцы Академии художеств разносили затем тонны песка по всем эрмитажным зданиям, поднимали их на все этажи, на двадцатиметровую высоту дворцовых чердаков. Намного убавилась песчаная гора, когда песок понадобился и для других целей.

Вещи, отправленные на Урал, окутывали ватой и прокладывали стружкой; толстый слой песка на каменном полу подвала стал солдатским ложем блокадного фарфора.

«В подвале под залом Афины нужно было укрыть тысячи предметов,— рассказывает Т. М. Соколова.— Это дело поручили нам, группе женщин, среди которых находилась и экскурсовод Корнилова, внучка прославленного героя Севастопольской обороны. Каждую вещь мы до половины закапывали в песок. Фарфоровые статуэтки, вазы, канделябры, обеденные, чайные и кофейные сервизы мы старались расставлять не только по размерам, но и по стилям — давала себя знать профессиональная привычка музейщика. Работали мы недели две. Огляделись перед уходом, сами поразились: экспозиция! Закончили мы работу утром 18 сентября...»

Вечером 18 сентября во время артиллерийского обстрела, которому вот уже две недели изо дня в день

подвергался город, вражеский снаряд разорвался у самого Эрмитажа, неподалеку от подъезда с гранитными атлантами, у моста через Зимнюю канавку. Раскаленное железо впилось в каменные стены, взрывная волна вышибла оклеенные бумажными полосками зеркальные окна зала Афины. Сотрудницы музея, еще утром работавшие в подвале под этим залом, кинулись к своему фарфору. Щелкнул выключатель — из песка, как ни в чем не бывало, выглядывали жеманные маркизы и томные кавалеры, пастушки и пастушки, вазы в пестрых завитках, кудреватые канделябры. Все было цело: чашки, кофейники, тарелки, супницы, солонки. Казалось, подвал сервирован на тысячу персон..

А над подвалом с фарфором, в зале Афины, с мозаичного пола, раскопанного в древнем Херсонесе и перенесенного в петербургский музей, уже сметали осколки разбитых вдребезги оконных стекол. Принесли фанеру. Пустоту оконных проемов закрыли первые в Эрмитаже фанерные щиты.



Дальнобойная артиллерия обстреливала Ленинград днем и вечером, бомбардировки с воздуха повторялись из ночи в ночь. Вражеское кольцо все более сжималось. На строительство новых оборонительных рубежей у самых стен Ленинграда землекопы-ленинградцы ездили теперь не на пригородных поездах, а трамваем.

Войска фон Лееба находились в шести километрах от Кировского завода, в четырнадцати километрах от Дворцовой площади.

Четырнадцать километров!

Подсчитано, что общая протяженность маршрута по всем эрмитажным помещениям составляет двадцать два километра. Двадцать два километра нужно пройти, чтобы осмотреть Эрмитаж, и всего четырнадцать километров, на восемь километров меньше, чтобы добраться от Эрмитажа до линии фронта, до передовой.

В ночь на 22 сентября всем предприятиям и учреждениям города были переданы телефонограммы из районных комитетов партии. Телефонограмму из Дзержинского райкома ВКП(б) записал дежурный по Эрмитажу:

*«Завтра, 22 сентября 1941 года, к 10 часам утра всем трудоспособным сотрудникам Эрмитажа выехать в Кировский район на работу по строительству оборонитель-*

*ных сооружений. Оставить в музее 50% состава команд МПВО. Ехать за Кировский завод до Петергофского кольца. Трамвай: 13, 28, 29, 35, 42. Пройти до штаба строительства Дзержинского района».*

Это были решающие дни ожесточенного сентябрьского штурма Ленинграда фашистскими войсками. Каждый ленинградец считал себя солдатом гражданского гарнизона, обороняющего город-крепость.

Гражданский гарнизон Эрмитажа нес свою боевую вахту на крышах и в залах музея. Бойцы, командиры и политработники эрмитажной команды МПВО оставляли доверенный им Эрмитаж только для того, чтобы, прошагав четырнадцать километров до линии фронта, вместе с другими ленинградцами, земляками по Дзержинскому району, строить за Нарвской заставой, невдалеке от Кировского завода, неприступный оборонительный рубеж.

## 5

Полночный бой кремлевских курантов Ленинград слышит в полночь, а Свердловск — в два часа ночи. Пробили кремлевские куранты, два часа ночи, но настольная лампа все еще горит в канцелярии загадочного учреждения, о котором мало кто знает в уральской столице и которое глухо именуется в служебных бумагах: «Филиал Эрмитажа».

Прикрытая газетой лампа освещает письменный стол, над которым склонился профессор Левинсон-Лессинг. Быть может, слишком длинным выходит письмо, которое он пишет сейчас в Ленинград, слишком подробен его отчет о трехмесячном пребывании на Урале эрмитажных вещей, может быть, ни к чему было так детально перечислять уже преодоленные трудности и рассказывать о вновь обступивших заботах?

«В перспективе событий, — заканчивает директор филиала свой отчет директору Эрмитажа, — в перспективе событий, в центре которых находитесь Вы и оставшиеся на месте наши товарищи, все наши заботы представляются до крайности мелкими, незначительными...»

Трудности, предвиденные и непредвиденные, от преодоления которых зависела сохранность эвакуированных

на Урал музейных коллекций, обступили сотрудников Эрмитажа, сопровождавших первый эшелон, как только они прибыли 6 июля в Свердловск. Все остались в вагонах, а начальник эшелона вместе с работниками свердловских организаций поехал осматривать здание, назначенное для эрмитажных вещей.

По воскресеньям многолюдно в любом музее; залы Свердловской картинной галереи были полны народом. Бросая мимоходом оценивающий взгляд на висящие вокруг картины, Левинсон-Лессинг обошел залы. Центральное пароводяное отопление — это хорошо. Часть широких, витриноподобных окон первого этажа придется замуравать. Он осведомился, достаточно ли прочны междуэтажные перекрытия, и услышал в ответ, что здание строилось под типографию, раньше в нем стояли тяжелые ротационные машины. Ему сказали, что общая площадь этого двухэтажного кирпичной кладки здания — тысяча квадратных метров. «Чуть больше, чем в одном Георгиевском зале», подумал он и обеспокоился, разместятся ли здесь все ящики. Его провели во двор к одноэтажному кирпичному зданию гаража — оно тоже будет сегодня освобождено для Эрмитажа.

Разгрузку эшелона начали с бронированного вагона. Сотрудники Свердловской картинной галереи еще сносили вещи своего музея в подвальный этаж, когда к стоявшему на путях эшелону подъехали грузовики, и солдаты, присланные командованием Уральского военного округа, откинув борта машин, принялись за работу. От станции Свердловск-товарная к Картинной галерее тянулись вереницы грузовиков. Грузы сопровождали бойцы с винтовками в руках и женщины в дорожных косынках.

Был погружен на машину плоский ящик с «Возвращением блудного сына», за который так боялись в Ленинграде — протиснется ли он в двери вагона; «Блудный сын» не причинил никому хлопот, но для «Вольтера» двери Свердловской картинной галереи оказались узки: громадный ящик со скульптурой Гудона внесли через широкое окно первого этажа. Ящик с саркофагом Александра Невского не проходил и через окно. Раку пришлось вносить без ее дощатого футляра, а разобранный на части ящик вновь склотили уже внутри здания и, вернув в него серебряный саркофаг, опять опломбировали.

Ящики возили весь день. Ящики возили всю ночь. Ящики заполнили оба этажа. Ящики стояли в бывшем гараже. «Филиал Эрмитажа» — именовалось со следующего дня скопище ящиков, сгруженных в Свердловской картинной галерее, и за их сохранность отныне отвечали семнадцать ленинградцев, отвечали перед родным городом, перед страной, перед человечеством.

Протяжные заводские гудки, проплывавшие над Свердловском, оповещали жителей не о налетах вражеских бомбардировщиков, а о начале и о конце рабочих смен. Но разве только от фугасных или термических бомб возникают пожары? Не будь директор филиала историком искусства, не будь историками искусства многие его помощники, возможно, они с меньшей тревогой глядели бы с заднего крыльца галереи на ее немощеный двор, окруженный деревянными сараями и пристройками. Но они были историками искусства и знали, сколько неповторимых художественных ценностей на протяжении веков погибло в пламени самых обыкновенных, случайных пожаров. Застучали топоры, пошли в ход гвоздодеры, превращая старые сараи в штабеля трухлявых досок.

Увозили трухлявые доски, привозили огнеупорный кирпич. Кирпичом заложили все окна, все двери в зале нижнего этажа, оставив только вход и запасной выход, но и их закрыли железными решетками, а двери обили листовым железом. Чем по эвакуационным временам не Особая кладовая для высших ценностей Эрмитажа? — здесь, в Свердловске, встретились как первой военной ночью в Ленинграде, скифское золото, скрытое теперь в ящиках, и, тоже незримые сейчас, картины Леонардо и Рафаэля, Рембрандта и Тициана.

Разносили бачки с песком, расставляли огнетушители. Спускались в подвал, лазили на чердак. Деревянные части чердака покрыли огнеупорным составом. Установили пожарные посты. Работники Эрмитажа дежурили в филиале круглосуточно. «9.00. Дежурство сдали А. Передольская и А. Быков. Приняли дежурство А. Банк и Т. Каменская». «23.00. Сдали дежурство А. Банк и Т. Каменская. Приняли дежурство К. Ракина и Н. Михеев». В журнал дежурств каждые три часа вносятся записи: «2.00. Обход помещений. Все в порядке». «5.00. Обход помещений. Все в порядке». «8.00. Обход помещений. Все в порядке».

Но в порядке было далеко не все.

Свежая штукатурка на замурованных оконных проемах плохо сохла, и проступившие на ней темные пятна не исчезали. «В помещении «ОК»<sup>1</sup>,— записывает дежуривший 14 июля А. Быков,— в 16.00 переставлены ящики с шифром «ОН»<sup>2</sup> от заложеного окна на улицу, т. к. в этом месте стены обнаружена плесень. По той же причине от заложеного окна во двор отставлены ящики с шифром «КГЭ»<sup>3</sup> в том же помещении. Попутно с этим перемещены ящики с шифрами «ОН», «ОКОВ»<sup>4</sup> и «ОКОЗ»<sup>5</sup>, чтобы открыть свободный доступ к батарее в помещении „ОК”».

Не все было в порядке и с пожарной безопасностью. Двор очистили от деревянных пристроек, но теперь, когда убрали сарай, он оказался не отгороженным от соседнего двора, на котором, как на грех, торчало деревянное складское здание, до крыши набитое бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами. Невысокий кирпичный забор, который пришлось возвести между зданием галереи и соседним двором, дела не решал; надо было непременно переселить этот склад, этот потенциальный очаг пожара,— а куда его переселишь?

Эрмитажный эшелон был одним из первых прибывших на Урал. С середины июля составы с эвакуированными предприятиями прибывали в Свердловск непрерывным потоком. В городе оседали перекочевывавшие с запада заводы, чтобы здесь, среди уральских гор, ковать оружие фронту. Любое здание, в котором могли быть смонтированы станки и расселены рабочие, отдавалось оборонным предприятиям.

К концу месяца пришла телеграмма, из которой можно было понять, что второй эшелон с эрмитажными вещами уже в пути. Нечего было и думать, что здание Картинной галереи сможет вместить еще полторы тысячи ящиков. Стали искать более вместительное помещение. Искали, но не находили: в одном обосновался эвакуированный номерной завод, другое отдали новому хлебозаводу — население Свердловска намного возросло.

Вечером 30 июля на ночное дежурство по филиалу заступили профессор А. А. Иессен, заведовавший в Эр-

<sup>1</sup> Особая кладовая.

<sup>2</sup> Отдел нумизматики.

<sup>3</sup> Картинная галерея Эрмитажа.

<sup>4</sup> Особая кладовая отдела Востока.

<sup>5</sup> Особая кладовая отдела Запада.

митаже отделом первобытной культуры, и реставратор Л. Д. Турулин. «21.00. Обход помещений. Все в порядке», — записал Александр Александрович Иессен на очередной страничке журнала дежурств. Через полтора часа постовой наружной милицейской охраны вызвал его во двор. Лил дождь. У крыльца стоял насквозь промокший профессор М. П. Грязнов, историк, археолог, заведующий отделением Сибири.

— Вот мы и прибыли... — сказал начальник второго эшелона.

С директором филиала он разминулся. Оповещенный телефонным звонком из обкома о прибытии эшелона, Левинсон-Лессинг, не заезжая в филиал, прямо из дому поспешил на товарную станцию и, стоя сейчас на мокрых путях, обнимал бросившихся к нему навстречу ленинградцев.

В 0.30 дежурный по филиалу записал: «Звонил Левинсон-Лессинг». Директор филиала предупредил, что разгрузка вагонов начнется днем, и если он с утра понадобится, пусть его разыскивают в обкоме, или в горкоме, или в горисполкоме. Нелегкое ему предстояло дело: добиться жилья для четырнадцати вновь приехавших эрмитажников, и почти невыполнимая задача — найти кров для полутора тысяч вновь прибывших эрмитажных ящиков.

Но Эрмитаж был Эрмитажем. В горисполкоме водили карандашом по плану города, тасовали и перетасовывали варианты переселений и сделали все, что можно было сделать. Одного большого здания, в котором удалось бы сложить все ящики из обоих эшелонов, в городе так и не нашлось, и филиалу Эрмитажа дополнительно к Картинной галерее предоставили одноэтажный каменный дом Антирелигиозного музея и здание бездействующего костела, высившееся посреди огороженного чугунной решеткой садика.

За день была свернута экспозиция Антирелигиозного музея, и, обходя пустые комнаты, Левинсон-Лессинг видел только ненавистные столичным музейщикам печи, изразцовые печи, которыми с былых времен отапливался этот старый купеческий особняк. Из Антирелигиозного музея он пошел в костел. Холодное даже летом здание, поежился Левинсон-Лессинг, и вообще никакого отопления! Каково тут будет осенью, зимой...

Он вернулся в маленькую комнату, служившую одновременно и директорским кабинетом и канцелярией

филиала. Кипы погрузочных ведомостей и поящичных описей были вывалены на столы. Судили, рядили, решали: что из второго эшелона может без ущерба перевозить в неотапливаемом помещении, какие ящики ставить в костел, какие — в Антирелигиозный музей, какие придется все-таки везти сюда, в Картинную галерею, единственное здание филиала, где можно соблюдать и температурный режим, привычный для эрмитажных коллекций, и необходимый им режим влажности. Но выдержат ли тяжесть нового груза междуэтажные перекрытия Картинной галереи?

Директор филиала не знал, что во фронтовом Ленинграде директор Эрмитажа вызовет экспертов, чтобы установить, способны ли междуэтажные перекрытия дворцовых зданий в какой-то мере обезопасить эрмитажные вещи от бомб и снарядов; в тыловом Свердловске директор филиала тоже вызвал экспертов: устоят ли междуэтажные перекрытия областной картинной галереи под тяжестью эрмитажных ящиков?

«...Загрузка вызывала серьезные опасения за прочность перекрытий,— сообщал он в своем отчете в Ленинград.— Я обратился в бюро технической консультации при Индустриальном институте (наиболее авторитетная в этом отношении организация) с просьбой произвести специальную экспертизу. Для расчета нагрузки на один квадратный метр пришлось произвести в ряде мест взвешивание ящиков на особых гидравлических весах. На основании произведенных измерений установлено, что нагрузка во втором этаже не превышает 400 кг на квадратный метр и не превышает допустимого предела для железобетонного перекрытия, тем более, что основная нагрузка распределена на балки. В первом этаже нагрузка оказалась значительно большей и достигает 700 кг на квадратный метр; для гарантии прочности рекомендуется установить деревянные столбы в подвальном помещении...»

Директор филиала не считал себя вправе умолчать, что «при разгрузке второго эшелона 25 ящиков большого размера не смогли быть сразу же водворены в помещение филиала как из-за тесноты, так и из-за опасности перегруза помещений». Ящики эти, покрытые брезентом, простояли во дворе Картинной галереи значительно дольше, чем он предполагал — не было грузчиков, и сейчас, когда он писал директору Эрмитажа, ему ясно представилось, как стояли под своим мокрым бре-

зентом эти бедные ящики, как стекала по брезенту дождевая вода.

Постепенно все более или менее устроилось: перегруппировали ящики, всюду на окнах навесили обитые железом ставни, где надо отремонтировали крыши и водосточные трубы, даже склад на соседнем дворе наконец снесен; все три объекта обеспечены пожарными и милицейскими постами и во всех трех объектах поочередно дежурят тридцать сотрудников, которыми располагает сейчас филиал: два человека — ночью, один дежурный — днем. Все устроилось, но во всех трех зданиях невозможная теснота — между ящиками не пройти, не подступиться к ящикам.

С осени прибавилась новая забота: Картинную галерею, где сосредоточены вещи, наиболее чувствительные к колебаниям температуры и влажности, надо подтапливать, а угля нет. Двести тонн, выделенные филиалу, лежат на угольном складе, вывезти их, однако, не на чем: большинство грузовых машин отдано фронту, а те, что остались у горисполкома, заняты перевозкой овощей. Машину даже не обещают, хотя близкая зима уже дает себя знать.

Прикрытая газетой лампа освещает письменный стол. Директор филиала заканчивает свое письмо-отчет директору Эрмитажа:

«...В перспективе событий, в центре которых находитеесь Вы и оставшиеся на месте наши товарищи, все наши заботы представляются до крайности мелкими, незначительными...»

Он на мгновение оторвал перо от исписанного листа.

«...И почти не задерживающими внимания, — дописал он. — Но от этих мелочей во многом зависит судьба доверенного нам имущества и самый смысл нашей командировки».

Прежде чем отослать письмо, Левинсон-Лессинг провел весь день в облисполкоме.

Довольный, что может хоть чем-то порадовать товарищей в Ленинграде, он приписал в конце уже перепечатанного отчета еще одну строку:

«Удалось через облисполком получить машину на 5 октября».

Седьмого октября верховному главнокомандующему гитлеровской армии была направлена из главной квартиры фюрера новая директива, подтверждающая решение Гитлера полностью уничтожить Ленинград. Двумя неделями раньше подобный документ, озаглавленный «О будущем города Петербурга», получил командующий военно-морским флотом: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли».

К этому времени Гитлеру и его штабу стало ясно, что план захватить Ленинград штурмом безнадежно провалился. На пути от Немана до Невы и у стен Ленинграда фашистские войска потеряли в боях тысячи солдат и офицеров — убитых и раненых, сотни танков и орудий, множество самолетов. Советские войска, оборонявшие Ленинград, хотя и понесли тяжелые потери, но не были разбиты. В тисках блокады они походили на сжатую до предела стальную пружину, всегда готовую со страшной силой распрямиться, грозную и опасную. Ленинград сдерживал у своих неприступных стен 300-тысячную армию противника.

Гитлеровское командование возлагало теперь свои надежды на жестокую осаду Ленинграда. Оно рассчитывало взять город измором, сломить упорство его защитников голодом и холодом; авиационные бомбы и артиллерийский огонь должны были превратить Ленинград в развалины. В директиве «О будущем города Петербурга» указывалось: «Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и непрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей».

Ленинградская осень сорок первого года... В сентябре по Ленинграду было выпущено 5364 снаряда, в октябре — 7590 снарядов; в сентябре на Ленинград было сброшено 32 389 бомб (991 фугасная и 31 398 зажигательных), в октябре — 60 727 бомб (801 фугасная и 59 926 зажигательных). Трижды уже снижалась норма выдачи хлебного пайка: с 1 октября рабочие получали 400 граммов хлеба на день, остальное население — по 200 граммов. Топливные запасы Ленинграда тоже были на исходе, а дни становились все холоднее и короче; с наступлением вечера — из-за недостатка электроэнергии — большинство домов погружалось во тьму.

Над холодной Невой стоял холодный Эрмитаж. Короткими осенними днями — в перерывах между тревогами — работники музея продолжали укрывать эрмитажные вещи под сводами нижних этажей; длинными осенними ночами — в перерывах между тревогами — научные сотрудники Эрмитажа, спустившись с изрешеченных крыш, обращались к делам, с давних пор составляющим интерес всей их жизни. Из ящиков стола они доставали рукописи незавершенных исследований, недописанных трудов...

Лампочка светила вполнакала, а то и совсем угасала. Сидели в темноте, мечтали: не будь войны, сдавали бы сейчас в набор каталог юбилейной выставки памятников эпохи Навои — каталог поспел бы как раз к декабрю, к празднованию пятисотлетия великого узбекского поэта. Вспоминали: а ведь на осень, на нынешний октябрь, намечались торжества в честь другого прославленного поэта, великого азербайджанца Низами, и, не будь войны, сейчас уже развешивали бы выставку — миру на удивление! Собрали бы воедино рукописи с творениями Низами, миниатюры на сюжеты его поэм, а кругом в витринах — сасанидское серебро!

Сидели в темноте, вспоминали, мечтали. И гадали, прилетят ли ночью «юнгерсы»?



Район Смольного, где находилось руководство обороной Ленинграда, подвергался авиационным налетам. Сильная бомбежка происходила и в тот октябрьский день, когда в нижнем этаже Смольного встретились два давних знакомца.

«Внизу, в одном из коридоров я неожиданно столкнулся с довольно колоритной фигурой, — много лет спустя вспомнит об этой встрече Николай Тихонов, летописец железных дней и ночей Ленинграда. — Человек без шляпы, с кудрями, как у короля Лира, спутанными и сильно поседевшими, с большой вспененной бородой, с полными энергии глазами схватил меня за руки и громко воскликнул: вас-то мне и нужно! Это был знаменитый ученый, директор Эрмитажа Иосиф Абгарович Орбели».

Николай Тихонов нужен был академику Орбели по важному делу, из-за которого он и пришел сегодня в Смольный. Поэт, стоявший сейчас перед ним в армей-

ской шинели, до войны деятельно занимался подготовкой юбилея Низами.

— Вы, конечно, не забыли,— сказал Орбели,— что юбилейные дни приближаются...

Сквозь каменные стены доносился гул воздушного сражения, рев самолетов, уханье зениток, и Тихонов только развел руками:

— Дорогой Иосиф Абгарович! Вы видите, что делается вокруг. В таких условиях юбилей будет выглядеть не очень торжественно.

Но Орбели твердо произнес:

— Юбилейные торжества должны быть проведены! Вся страна отметит юбилей Низами, а мы в Ленинграде не сможем? Чтобы фашисты говорили, что они сорвали нам праздник нашей культуры?

Смольнинскими коридорами оба прошли в Политуправление Ленинградского фронта. Тихонов представил Орбели и, опасаясь, что почтенного академика примут за человека, не отдающего себе отчета в происходящем, обрисовал некоторые особенности его характера. Затем был выслушан Орбели.

— Вступительное слово от писателей сделает он,— указал Орбели на Тихонова.— Слово от ученых скажу я.— И добавил, как нечто само собой разумеющееся:— Докладчиков достанете вы...

— Как мы? — удивились в Политуправлении.

— Они в окопах. Невдалеке. Где-то около Колпина или Пулкова. Вы вызовете их на один день. Они утром приедут, а вечером уедут обратно.

Орбели назвал имена нескольких востоковедов, научных сотрудников Эрмитажа, воевавших под Ленинградом.

Вызвать докладчиков ему обещали, но заметили, что главное ведь не в этом: судя по плану торжественного заседания, изложенного товарищем академиком, в Эрмитаже соберется человек двести, виднейшие представители интеллигенции города. А что, если налетят фашистские самолеты и в Эрмитаж угодит бомба,— кто будет отвечать за то, что может случиться?

— Я отвечаю! — запальчиво воскликнул Орбели.— Не первая же бомба попадет в Эрмитаж?! А если вторая, то я всех успею быстрым ходом увести в бомбоубежище. Поймите,— стал он снова убеждать работников Политуправления,— юбилей Низами должен состояться в Ленинграде! Позор нам всем, что в Москве, в

Баку, во всем Советском Союзе он будет отмечен, а мы не отметим. Скажут, что мы растерялись, так напуганы бомбежками, что забыли о своем долге...

«Его вдохновенное лицо, воинственная борода и уверенность человека, выдавшего виды, произвели впечатление,— пишет Н. Тихонов.— Нам разрешили собрание. Оно состоялось точно в том часу, как было назначено».

В архиве Эрмитажа сохранился «Список присутствовавших на заседании памяти Низами» 19 октября 1941 года. Тогда этот лист бумаги лежал на столике у входа в Школьный кабинет Эрмитажа. К столику подошел человек в армейской шинели с тремя шпалами в петлицах и расписался: «Н. Тихонов». Подошел к столику и только что прибывший докладчик — армейский командир, вызванный с передовой Политуправлением фронта. «М. Дьяконов» — расписался он и тут же, у входа в Школьный кабинет, обнял давно не виденных товарищей по отделу Востока — А. Болдырева и Г. Птицына, которым тоже предстояло сегодня прочесть доклады о творчестве Низами. Длинный лист бумаги, лежавший на столике, заполняли своими подписями академики и поэты, историки и археологи, художники и архитекторы, партийные и советские работники, корреспонденты ленинградских и московских газет. Гостей при входе уведомяли, что в случае воздушной тревоги заседание будет перенесено в бомбоубежище.

Слово от ученых произнес академик Орбели, слово от писателей — Николай Тихонов. «Я сказал, как мог, взволнованный речью Орбели,— пишет Н. Тихонов.— Затем ученые докладчики в шинелях, с противогазами, пришедшие в Эрмитаж из окопов, читали доклады про жизнь и деятельность Низами. Звучали стихи, написанные восемьсот лет назад. Низами воскрес и принес в наш вооруженный лагерь свою дружескую песнь победы не умирающего, здорового, прекрасного человечества, чтобы торжествовать над тьмой и разрушением. Наш фронт почтил Низами, как и Низами почитал героев».

Потом все осматривали небольшую юбилейную выставку, старательно подобранную из того немногого, что оставалось в Эрмитаже. Никому не хотелось уходить, но приближалось время, когда вражеская авиация обычно начинала бомбить город. Тихонов подошел к директору Эрмитажа и молча показал на часы.

— Все в порядке,— кивнул ему Орбели,— у нас еще десять минут!

«Он поблагодарил всех и пожелал счастья,— рассказывает Н. Тихонов.— Гости расходились под впечатлением необычного собрания. Я попрощался с могучим энтузиастом, спустился с друзьями по дворцовой лестнице, вышел на Неву...

Через две минуты заревели сирены воздушной тревоги».

Прошло несколько недель, и опять встретились в Смольном поэт с тремя шпалами в петлицах армейской гимнастерки и директор Государственного Эрмитажа.

— Дорогой Иосиф Абгарович,— окликнул Николай Тихонов академика Орбели.— Должен вас поставить в известность, что ни в Москве, ни в Баку, нигде в Советском Союзе никто в октябре юбилея Низами не проводил. Юбилей отложен, и только в одном Ленинграде он отмечен торжественным собранием! Что вы скажете?

— Я скажу, Николай Семенович, что это прекрасно,— ответил Орбели.— Прекрасно, что в осажденном Ленинграде мы провели юбилей Низами. Можно было его нигде не проводить, но мы, ленинградцы, обязаны были его отпраздновать.

«Люди света»,— так назвал в 1964 году Николай Тихонов свой очерк о Ленинграде в пору блокады и, рассказывая о нравственной силе ленинградцев, вспомнил все подробности сурового праздника в Эрмитаже. Но об этом знаменательном событии в жизни осажденного города он писал еще осенью 1941 года, и военный самолет доставил в Москву через линию фронта его фронтovou корреспонденцию:

«В великолепном Эрмитаже недавно справляли юбилей великого азербайджанского писателя-человеколюбца Низами... В солнечном Баку откликнулось это торжество, и по всему Советскому Союзу узнали, что в Ленинграде жив могучий дух торжествующего творчества».

## 7

На листе полуватмана черно-белый рисунок: шпиль Петропавловской крепости едва проступает из черной пустоты; в черное небо вонзаются лучи прожекторов,

вечерном небе рвутся зенитные снаряды; взметая каскады камней, рвутся на черной земле фугасные бомбы, рушатся здания, обваливается стена... А в нижней части этого графического листа, воссоздающего образ железных ночей Ленинграда, полукружием двух параллельных линий очерчено высветленное пятно: над чертежной доской склонился пожилой человек в стеганом ватнике. На покато́м своде подвала, служащего ему укрытием, начертаны слова, брошенные Архимедом римскому солдату, когда тот занес над его головой окровавленный меч завоевателя:

«Noli tangere circulos meos!»

«Не трогай мои чертежи!»

Лицо пожилого человека, изобразившего себя на этом рисунке, знакомо многим в Эрмитаже, а графический лист, символизирующий непреодолимый дух творчества ленинградской интеллигенции, предпослан альбому, на титуле которого выведено рукою автора:

«Собрание рисунков, сделанных в 3-м бомбоубежище Эрмитажа частью с натуры, частью по памяти во время осады Ленинграда осенью и зимой 1941 года Александром Никольским».

Они с почетом покоятся сейчас в эрмитажном хранилище рисунков — где-то рядом с шедеврами величайших мастеров графики, эти графические листы, которые создавал блокадными ночами академик архитектуры Александр Сергеевич Никольский. Неоценимо для истории Эрмитажа мемориальное значение этих листов, сделанных выдающимся советским зодчим в эрмитажном бомбоубежище осенью и зимой 1941 года, в бомбоубежище № 3 — одном из двенадцати эрмитажных бомбоубежищ.

С начала войны в бомбоубежища Эрмитажа были превращены многочисленные дворцовые подвалы. Сотрудники музея заложили низкие подвальные окна кирпичом, навесили железные двери, расставили столы и стулья, сколотили топчаны. «Столяров в Эрмитаже оставалось мало, — свидетельствуют блокадные записи Б. Б. Пиотровского, — и вся подсобная работа производилась нашими силами, руками сотрудников музея».

Осенью и зимой 1941 года эрмитажные бомбоубежища населяло две тысячи человек. Здесь жили не только сотрудники Эрмитажа и их семьи, но и многие известные деятели искусства и науки. Одни поселились здесь

в первые дни блокады, другие — через неделю, третьи — через месяц.

«Месяц и один день идет бомбежка города,— этими словами начинается неопубликованный дневник А. С. Никольского.— Месяц и один день жена и я торчим на чердаке своего жакта. Месяц и один день слушаем мы в темени чердака тянущее за душу пение немецких моторов, полный томительного предожидания свист бомб и с необлегчающим облегчением мягко качаемся вместе с домом от взрыва на этот раз не в нас попавшей бомбы... Мы продолжали бы сидеть часами на чердаке и слушать очередные завывания и взрывы, но провести месяц без сна мы оказались не в силах...

Вот тут-то и возник перед нами наш замечательный Эрмитаж с его замечательным директором и его замечательными работниками.

В одно прекрасное утро — именно через месяц и один день с начала бомбежек, после недели совершенно бессонных ночей,— мы с Верой перебрались в 3-е бомбоубежище Эрмитажа и, как камни, заснули под его несокрушимыми сводами».

По утрам, выйдя из бомбоубежищ, их обитатели расходились по своим делам — кто в служебные комнаты Эрмитажа, кто — в Академию художеств, кто — в Академию наук. Старые женщины и дети, если не было воздушного налета, собирались в эрмитажном Школьном кабинете и, наслаждаясь тусклым дневным светом, глядели на Неву, на корабли у набережной, на Петропавловскую крепость,— ее шпиль, затянутый темно-серым чехлом, едва проступал на сером небе. По вечерам, когда в черном небе начинали рваться снаряды и в черном зените скрещивались лучи прожекторов, две тысячи человек вновь сходились в двенадцати бомбоубежищах.

«Вход во 2-е и 3-е бомбоубежища — через Двадцати-колонный зал, через запасной выход на двор, под арку,— записывает А. С. Никольский в блокадном дневнике.— Ночью этот путь — от подъезда до входа в бомбоубежища через переходы и залы Эрмитажа — фантастичен до жуткости.

Светомаскировки на больших музейных окнах нет, и зажигать свет здесь не разрешается. Поэтому в Двадцати-колонном зале, в торцах его, стоят на полу аккумуляторы с маленькими электрическими лампочками. Все вокруг темно, как сажа.

Впереди в крошечной тьме мерцает маленький путеводный огонек. Собыешься с пути — наткнешься на колонну, витрину или косяк двери.

Из Двадцатиколонного зала, перейдя небольшую комнату, попадаешь в помещение с вазой невероятной величины<sup>1</sup>... Темные обычно помещения были однажды освещены случайно приоткрытой дверью. Через минуту подбежавший сторож закрыл дверь, и все снова погрузилось во мрак, и не стало видно ни пола, ни потолка, ни распалубок, ни колонн, и самой вазы тоже не стало видно, только вдали внизу мерцал слабенький огонек. На него и надо идти...

3-е бомбоубежище, предназначенное для сотрудников Эрмитажа,— это подвал под итальянскими залами с «просветами». Вдали налево в углу стоят наши постели. В левом ближнем углу живут Верейские<sup>2</sup>. Наш угол со столом для работы и еды мы делим с семейством Буцов. Буц — помощник бухгалтера Эрмитажа...»

По одну сторону стола, обложив себя ведомостями, щелкал костяшками счетов помощник бухгалтера Эрмитажа; по другую сторону стола академик архитектуры проходил напоследок итальянским карандашом сделанный днем рисунок или, отложив его на топчан, раскрывал свой блокадный дневник на еще не заполненной странице:

«...С переездом в Эрмитаж новые впечатления от подвалов и жизни там, и от бомбежек города настроили меня на новый лад, и я стал много рисовать частью с натуры, частью по памяти и впечатлению. В результате этого рисования в течение октября, ноября и декабря накопилось около 30—40 рисунков, которые я разбил по темам на три тетради. Случайно тематика совпала с месяцами. В октябре я рисовал бомбоубежища с натуры, в ноябре — по впечатлению и памяти — Неву с кораблями и в декабре — залы, комнаты и переходы Эрмитажа».

Вернисаж блокадных рисунков Александра Никольского состоялся тут же в бомбоубежище. Однажды в декабре Никольский пригласил в свой угол эрмитажников, соседей по бомбоубежищу № 3, и друзей, расквар-

---

<sup>1</sup> А. С. Никольский говорит о знаменитой Колыванской вазе; ее высота — 2,5 м, ширина в большом диаметре — 5 м, в малом — свыше 3 м; весит она 19 тонн

<sup>2</sup> Художник Г. С. Верейский, действительный член Академии художеств СССР, народный художник РСФСР

тированных по другим подвалам. Он положил на стол заранее отобранные листы, поставил перед собой кресло, сам сел на стул.

— Буду показывать,— сказал он.

В подпоясанных ремнями ватниках, окутанные шарфами и шерстяными платками, не сняв галош со стоптанных валенок, сгрудились за спиной Никольского самые заядливые завсегдатаи всех ленинградских и московских вернисажей. Трепетали огоньки оплывающих свечей, причудливые тени скользили по сводам и стенам подвала, по простыням, огораживающим кровати и топчаны, по холодному каменному полу.

— Буду показывать,— повторил Никольский.

На подлокотники кресла, опершись о спинку, встал первый рисунок, и все увидели 3-е бомбоубежище, в котором они сейчас находились, уменьшенное до половины листа ватмана,— койки и топчаны, огороженные простынями, столы со стопками книг, укутанные шарфами и платками одинокие фигурки людей. Потом они увидели бомбоубежище № 2, то, что под Двадцатиколонным залом — узкий коридор с цилиндрическими сводами и распалубками, и бомбоубежище № 5 — под египетскими залами, самое надежное в смысле непробиваемости, но душное, без удобств, параша стоит на холоду, и бомбоубежище № 7 — под боковым нефом итальянских залов, с бесконечным числом труб, проходящих по его потолку,— увы, могущественные змеи воздушно-го отопления уже безжизненны, уже не дают тепла...

Листы сменялись на подлокотниках кресла:

...Нева из окон Эрмитажа...

...Снова бомбоубежище...

...Угрюмые фасады эрмитажных зданий...

...Печальные интерьеры эрмитажных залов...

— Все,— сказал Никольский, снимая с кресла последний рисунок.

Он попросил эрмитажного переплетчика изготовить большую альбомную папку и, когда папка была готова, нарисовал титульный лист:

«Собрание рисунков, сделанных в 3-м бомбоубежище Эрмитажа...»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Альбом блокадных рисунков А. С. Никольского был преподнесен Государственному Эрмитажу в дар от Академии архитектуры СССР. В благодарственном письме ее президенту академику В. В. Веснину академик И. А. Орбели писал:

«Государственный Эрмитаж приносит Вам и в Вашем лице

Толстую тяжелую папку с рисунками Никольский поставил в своем закоулке, у стены, рядом с другими папками, куда он складывал чертежи, наброски, эскизы, над которыми постоянно работал в бомбоубежище. Он раскрывал ту или иную папку, и перед ним возникал стадион, строительство которого прервала война, но который после войны будет непременно закончен, и грандиозный приморский парк, который — тоже после войны — раскинется у подножия стадиона. Рука тянулась к карандашу, две-три уверенные линии, и на листе шершавой бумаги уже выростали очертания памятников, которые победители воздвигнут героям, погибшим в боях за Ленинград. Две-три черты, и на другом листе уже протягивалась вдаль широкая аллея будущего парка Победы<sup>1</sup>.



На заснеженную крышу Зимнего дворца (ее ни разу не очищали с тех пор, как выпал первый снег) вышковые наблюдатели поднимались теперь в овчинных тулупах. Ледяной ветер гулял по крыше, колкой снежной пылью мел в обмерзшие лица.

Поначалу прилетал одиночный «хейнкель». Заунывный вой его моторов был слышен издалека. Потом в небе повисла на парашюте осветительная ракета, и вышковым наблюдателям — и тем, кто дежурил над Георгиевским залом, и тем, кто стоял у стеклянных просветов Нового Эрмитажа, — каждый раз казалось, что чертов «хейнкель» навесил свою «лампу» именно над Эр-

---

Академии архитектуры Союза ССР свою глубокую благодарность за великолепный дар — альбом рисунков, иллюстрирующих жизнь Эрмитажа в дни блокады Ленинграда, выполненных действительным членом академии архитектуры А. С. Никольским.

Альбом этот явится украшением мемориального собрания Эрмитажа, посвященного Великой Отечественной войне, и будет служить документальным материалом для истории борьбы нашего города-героя против покушавшихся на него фашистских захватчиков».

<sup>1</sup> Приморский парк Победы (авторы проекта А. С. Никольский, Н. Н. Степанов и др.) был заложен трудящимися Ленинграда в октябре 1945 года в ознаменование победы советского народа в Великой Отечественной войне. После войны возобновилось и строительство стадиона имени С. М. Кирова (авторы проекта А. С. Никольский, К. И. Кашин и Н. Н. Степанов). В 1950 году над стадионом, трибуны которого вмещают 100 000 зрителей, был впервые поднят флаг соревнований.

митажем, именно над Зимним дворцом, что первая же волна фашистских бомбардировщиков сбросит весь свой бомбовый груз именно на эту ярко освещенную крышу...

В небе уже выли «юнкеры». Бомбы крушили невиский лед, взрывались на дне Невы, черные фонтаны обдавали набережную, содрогались стены дворцовых зданий, и в грохоте взрывов привычное ухо «вышковых» улавливало дробный звон стекла, вышибаемого взрывной волной из дворцовых окон.

Истек уже третий месяц осады Ленинграда. Лютовал декабрь.

Месяц назад пал Тихвин. Этот затерянный в лесах маленький городок, расположенный по ту сторону блокадного кольца, война неожиданно превратила в важнейший железнодорожный пункт: через Тихвин доставлялись грузы к причалам на восточном берегу Ладожского озера, а оттуда они, пусть и под градом бомб, но все-таки переправлялись на западный берег, по водной трассе, еще связывавшей блокированный Ленинград с Большой землей. Тихвин был потерян 8 ноября, и в тот же день, чтобы растянуть скудные запасы продовольствия в Ленинграде, хлебную норму снизили даже войскам первой линии. Трагически звучат свидетельства Д. В. Павлова, уполномоченного Государственного Комитета Оборона по снабжению войск Ленинградского фронта и населения Ленинграда в самые тяжелые блокадные месяцы: «Хлеб подходил к концу... Как ни тяжело и больно было, а пришлось уменьшить выдачу хлеба и населению. С 13 ноября рабочим установили 300 граммов хлеба в сутки, служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 150 граммов... Чтобы не допустить полного прекращения выдачи хлеба и предотвратить паралич города, через семь дней после последнего снижения Военный совет в третий раз в ноябре уменьшает нормы. С 20 ноября рабочие стали получать в сутки 250 граммов хлеба, служащие, иждивенцы и дети — 125...»

А хлеб был в ту пору почти единственный продукт питания!

Завьюженные улицы. Обледенелые дома. Фасады глухие, как брандмауэры. Окна зашторены, окна зафанерены — не узнаешь, за каким окном мерцает фитилек коптилки.

Блокадная коптилка — негасимый огонек! При свете

коптилки поэты писали фронтовые листовки, художники рисовали фронтовые плакаты. Поставив на рояль блюдце с чадящим фитильком, композиторы сочиняли героические симфонии и боевые песни. Блокадная коптилка освещала и чертежную доску архитектора, и письменный стол ученого.

В Эрмитаже коптилок долго не заводили. На складе каким-то чудом оказалось изрядное количество церковных свечей. А кое-где в служебных помещениях музея — спасибо морякам Краснознаменной Балтики! — даже горело электричество.

Как-то в начале зимы, когда провода городских электростанций были уже отключены от Эрмитажа, в музей зашел командир бригады подводных лодок А. В. Трипольский. В Эрмитаже его знали: портрет Трипольского весной 1940 года выставлялся в эрмитажной галерее Героев Советского Союза. Трипольский заглянул в одну комнату, в другую — пожилые люди, подняв воротники шуб и пальто, сидели в промерзших комнатах, что-то писали.

В кабинете директора музея стол был тоже завален книгами и рукописями. Орбели обрадовался гостю: он всегда симпатизировал морякам и любил их еще больше после того, как моряки-подводники помогли эвакуировать эрмитажные вещи. Он отложил книгу, снял очки, успокоил Трипольского:

— Нет, нет, ничуть не помешали. Уже темно...

Скинув с колен какую-то обтрепанную ткань, согревавшую ему ноги («Ревматизм замучил», — признался он Трипольскому), Орбели встал из-за стола и, достав из ящика свечу, хотел было опустить штору светомаскировки, но, передумав, предложил:

— Пойдем-ка лучше вниз. Внизу у меня все-таки теплее...

В Двадцатиколонном зале, через который они проходили, царил крошечный мрак. Аккумуляторы с крохотными лампочками, служившими здесь путеводным огоньком, уже выдохлись, и единственным ориентиром в темноте была теперь церковная свечка, горевшая на полу у противоположной стены подле дверного косяка. Орбели, указывая путь, шагнул впереди, и когда он заслонял собой мерцающий вдали светлячок, Трипольский шел вслепую, от колонны к колонне, нащупывая вытянутой

рукой их ледяную каменную гладь. В соседнем зале огонек свечи, отражавшийся на полированной яшме Кольванской вазы, указывал выход во двор.

Протопанная в снегу тропинка ведет наискосок под арку. Лестница в подвал; направо — вход в 3-е бомбоубежище, налево — дверь к Орбели.

Дохнуло сыростью. Чиркнув спичкой, Орбели зажег свечу в трехрожковом подсвечнике.

— Мой блокадный кабинет,— улыбнулся он, выпрастывая бороду из-под теплого шарфа, и борода сразу разметалась по ватнику.

Сводчатый потолок. Узкая койка у стены. Разбросанные по столу книги... Трипольский не отводил взгляда от свечи. Решив, что гостю понравился старинный серебряный подсвечник, принесенный им из дому, Орбели принялся увлеченно рассказывать об искусстве старых мастеров чекана. Трипольский слушал, кивал головой, но думал о своем.

Выйдя из Эрмитажа, командир бригады подводных лодок пересек набережную. Против служебного входа в Эрмитаж стояла вмерзшая в лед «Полярная звезда», в прошлом — прогулочная яхта царской семьи, затем — штаб большевистского Центробалта, ныне — вспомогательное судно бригады подплава. По скользкому трапу Трипольский поднялся на пароход и сразу же спустился в кубрик к электрикам. А утром матросы перекинули провод от «Полярной звезды» к Эрмитажу.

«Корабль дал свой ток в некоторые помещения Эрмитажа,— с восторгом записывает в блокадный дневник А. С. Никольский.— Стало светло, а это — неоценимое благо».



«Полярная звезда» могла поделиться со своим береговым соседом лишь немногими киловаттами. Электричество осветило только несколько эрмитажных помещений, а в остальных служебных комнатах на столах по-прежнему мерцали церковные свечи.

Горели свечи на столах, шелестела на столах бумага. Озябшие руки извлекали из ящиков стола недописанные труды, незавершенные исследования...

«Научная работа,— вспоминает Б. Б. Пиотровский,— очень облегчала нам тяжелую жизнь. Те, у кого день был занят работой, легче переносили голод. Чувство го-

лода со временем переходило в физическое недомогание, мало похожее на желание есть в обычных условиях, и так же, как всякое недомогание, оно легче переносилось в работе... Мои научные статьи, написанные в Ленинграде зимой 1941/42 года, удовлетворяют меня более, чем некоторые из выполненных в мирной обстановке. И это понятно: в ту зиму можно было или не писать или писать с большим подъемом, среднее исключалось вовсе».

За дворцовыми стенами рвались снаряды — то где-то поблизости, то вдалеке от Эрмитажа. Оплывал воск церковной свечи, потрескивал фитилек, и история культуры древнего Урарту все явственнее проступала на листках бумаги под пером заместителя начальника пожарной команды эрмитажной МПВО Б. Б. Пиотровского.

Со склонов Кармир-Блура археолог Пиотровский вернулся в Ленинград, чтобы с оружием в руках участвовать в защите родного города. Но работники ленинградского военкомата по-иному определили его военную судьбу. В своих записях военных лет Б. Б. Пиотровский рассказывает:

«В середине августа собралась группа археологов-кавказоведов, работающих коллективно... У двух из четырех собравшихся были повестки на явку в части... Каждый из нас изложил, что он успел выполнить научно, какие работы начаты и что надо сделать для их окончания... Товарищи обменялись рукописями своих работ, рассчитывая, что это явится самым лучшим способом сохранить их. Не взял рукописи я, так как я уходил в добровольческие части, которые должны были действовать в тылу противника. Но судьба решила иначе. Из всех четырех товарищей в живых остался только я один. Наш отряд было уже поздно перебрасывать в тот район, где мы собирались действовать, и его расформировали, перевели в народное ополчение, а меня вернули в Эрмитаж...»

Во врученном Пиотровскому предписании вернуться в Эрмитаж было сказано: «для оборонной работы». А к оборонной работе в музее тогда относилось многое. Надо было оберегать все, что оставалось не вывезенным из Эрмитажа; обереечь надо было и коллекции Академии наук, доставленные в Эрмитаж после начала блокады; надо было во фронтовых условиях, в каждодневно бомбардируемом городе, обезопасить, обереечь, охранить и

сами эрмитажные здания, эти бесценные исторические и художественные памятники, творения великих зодчих.

Описывая меры, принятые в годы осады Ленинграда для охранения эрмитажных зданий, главный архитектор музея А. В. Сивков отмечал важное значение созданной из музейных работников аварийно-восстановительной команды, «которая с быстротой и неизвестно откуда появившейся сноровкой и умением принялась... за ликвидацию аварий и повреждений, наносимых зданиям обстрелами и бомбежками». «Каждый на своем посту продолжал дело обороны города Ленина», — писал А. В. Сивков в «Сообщениях Государственного Эрмитажа», останавливаясь и на большой роли, которую сыграла в годы блокады пожарная команда, укомплектованная в основном научными сотрудниками музея.

Эрмитаж даже в мирное время значился в перечне «объектов № 1» городской пожарной охраны. С первых дней войны число пожарных постов в Эрмитаже было намного увеличено, и эти новые посты по сигналу воздушной тревоги занимали бойцы команды МПВО.

«Каждый пожарный, — рассказывает Б. Б. Пиотровский, — имел свой определенный пост и охранял отведенный ему участок. Осенью и зимой 1941 года бывало по десять — двенадцать тревог в сутки. Ночью к нашим постам приходилось добираться по совершенно темным залам Эрмитажа и Зимнего дворца, но маршруты, иногда очень дальние, до  $\frac{3}{4}$  километра, были настолько привычны, что мы могли бы их пробегать с завязанными глазами.

В часы воздушных тревог моей резиденцией, как заместителя начальника пожарной команды МПВО, был Арапский зал Зимнего дворца, рядом с Малахитовым залом и так называемой Малой столовой, небольшой комнатой, где в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года красногвардейцы, солдаты и матросы, взявшие штурмом Зимний дворец, арестовали Временное правительство, последних в России министров-капиталистов. В Арапском зале, присев на свернутые ковры, я дежурил и отсюда же производил обход вверенных мне постов. В залах было очень холодно, и, обходя посты, я разносил чай моим товарищам-постовым — полуостывший кипяток без заварки, без сахара, который в обернутом полотенцем чайнике кто-нибудь приносил мне из нашей пожарной казармы.

Нельзя было привыкнуть к виду дворцовых залов,

по которым я теперь проходил по многу раз и днем и ночью. Когда все было вынесено и они опустели, особенно рельефно выступила их прекрасная архитектура и декорировка. Гулко звучали шаги, и эхом отдавался человеческий голос. По ночам залы озарялись светом близких пожаров или ослепительным огнем зажигательных бомб, догоравших неподалеку от стен Зимнего. Из дворцовых окон мы видели, как зажигательные бомбы упали на здание Биржи — Военно-морского музея. Их быстро сбросили вниз на площадь, где они разгорелись ярким пламенем, осветив колоннаду Биржи, Ростральные колонны, всю Стрелку Васильевского острова, Неву. В другой раз зажигалки упали на пляж перед стеной Петропавловской крепости. Отблески огня, пылавшего на том берегу, зловеще заиграли на колоннах Малахитового зала, у окна которого я стоял.

Воздушные тревоги длились иногда до семи часов подряд, и поэтому сумки от противогазов были у нас всегда набиты книгами. Орбели, как начальник объекта, сердился. «За пояс надо книги совать!» — говорил он. Ночью мы читали при свете карманного фонарика.

Сидел я однажды в моем Арапском зале, читал. Внезапно — среди полной тишины — что-то грохнуло на Неве со страшной силой. Я вскочил, выбежал в Малахитовый зал, кинулся к окну — темнота... И вдруг слышу: по анфиладе второго этажа, откуда-то издалека, все ближе и ближе к Малахитовому залу, шумно растворяются двери, одна дверь за другой — и никаких шагов, будто бестелесный призрак шествует по Зимнему дворцу, неутомимо приближается, — вот сейчас он растворит последнюю дверь и выйдет сюда, ко мне. Доля секунды, и дверь в Малахитовый зал дрогнула, стала медленно растворяться. Я невольно отпрянул. Дверь открылась — за дверью никого! Только теперь я сообразил, что по анфиладе дворцовых залов прогулялась взрывная волна, — в Малахитовый зал она дошла уже обессиленной... В какие же окна она ворвалась? — это нужно было немедленно установить, чтобы аварийная команда сразу же вставила фанеру в расстекленные окна».

Еще один ночной обход. Гулко звучат шаги в пустых и холодных залах.

Увенчанная стекляннм куполом Ротонда отделяет Арапский зал, где дежурил Пиотровский, от Темного коридора, где занимал свой пожарный пост боец команды МПВО Андрей Яковлевич Борисов.

Профессор Эрмитажа А. Я. Борисов был всего на несколько лет старше Пиотровского, и молодых ученых дружба связывала со студенческих времен. Научные интересы Борисова, филолога, лингвиста, палеографа, были необычайно разносторонни: иранистика, семитология, медиевистика. «Талант на грани гениальности,— говорит об этом ученом профессор М. Э. Матье.— Феноменальная память при творческой способности к широким обобщениям». Война застала А. Я. Борисова за дешифровкой эпиграфических памятников, оставленных Сасанидами, и на результаты работ, успешно начатых им, советская наука возлагала большие надежды.

«Андрей Яковлевич Борисов дежурил в Темном коридоре,— рассказывает Б. Б. Пиотровский.— В ожидании очередной бомбежки мы встречались с ним на границе наших пожарных постов, в Ротонде, и читали друг другу курсы лекций; он меня знакомил с основными проблемами семитологии, я же обучал его археологии. Нас очень беспокоило, что в случае нашей гибели все то, что нам удалось узнать, но еще не удалось опубликовать, сделать достоянием науки, общим знанием, уйдет вместе с нами, пропадет навсегда и кому-нибудь надо будет впоследствии все начинать сначала. Мы приходили к решению: надо писать, писать, писать немедленно, не откладывая».

Тревога кончалась, ученые покидали пожарные посты: Борисов возвращался к своим Сасанидам, Пиотровский — к своему Урарту.

Оплавлял воск церковной свечи, потрескивал фитилек... Мельчайшим почерком исписывал листок за листком Пиотровский. «Очень холодно,— помечал он иногда на полях листка.— Трудно писать, очень холодно»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В предисловии к изданному в 1944 году капитальному труду «История и культура Урарту» доктор исторических наук Б. Б. Пиотровский указывает:

«...Эту книгу я начал писать в Ленинграде, зимой 1941—42 г. в свободное от оборонной работы время... Условия блокады лишили меня возможности в процессе писания пользоваться библиотеками, и в этом следует видеть объяснение некоторых дефектов аппарата книги, таких, как неполнота приводимых в ссылках заглавий книг или отсутствие точных указаний страниц; многие необходимые для работы книги в это время были недоступны, и я вынужден был пользоваться только своими конспектами».

Рецензируя еще в рукописи книгу Б. Б. Пиотровского, академик В. В. Струве в 1943 году писал: «Я считаю своим долгом завершить мои суждения о труде доктора исторических наук Бо-



Очень холодно и очень хочется есть. Двести пятьдесят граммов суррогатного хлеба по рабочей карточке, сто двадцать пять — по карточке служащего. Лукуллово пиршество — студень из столярного клея. Накануне войны Эрмитаж готовили к ремонту, и на его склад завезли столярный клей и олифу. Полкило клея и литр натуральной олифы, выписанные главным архитектором, порой спасали жизнь истощенным людям в Эрмитаже. Из столярного клея варили студень, на олифе жарили блокадные пирожки из где-то раздобытых очистков мерзлых картофелин.

В пожарной казарме разговоры о еде были запрещены. Здесь топилась печка, горел электрический свет от динамо-машины «Полярной звезды», и отогревались здесь не только пожарные. Сюда приходил из своего кабинета академик Орбели, сюда поднимался из бомбоубежища № 3 художник Георгий Семенович Верейский, эрмитажный ветеран; сюда заглядывали ученые и художники из других бомбоубежищ. «Пожарная команда стала центром научной жизни Эрмитажа,— отмечает в своих блокадных записях Б. Б. Пиотровский.— В помещении команды разрабатывались весьма различные темы: по западноевропейскому искусству, по истории железных дорог в России, по древним латинским рукописям, по вопросам семитологии, археологии, по истории Ирана, по истории Ванского царства...»

Как о чем-то очень давнем вспоминали теперь в пожарной команде о совсем недавнем юбилее Низами. Было это в октябре, а сейчас уже декабрь, и целая вечность, казалось, уже отделяет этот декабрь от тех мирных июньских дней, когда в Эрмитаже с волнением ждали вестей из Самарканда: какие новые памятники эпохи Навои найдут археологи в мавзолее Гур-Эмир, чем

---

риса Борисовича Пиотровского следующим предложением: этот актуальный труд, являющийся глубоким исследованием, покоящимся на источниках, которые были в значительной своей части извлечены самим автором из архива земли, свидетельствует о высоком уровне нашей советской науки и о мощи творчества советского ученого, которого не могли сломить лишения и невзгоды в блокированном Ленинграде; эта работа должна быть включена в число трудов советских ученых, заслуживающих присуждения им высшей награды нашего Советского государства».

В 1946 г. труду Б. Б. Пиотровского «История и культура Урарту» была присуждена Государственная премия.

пополнятся эрмитажные коллекции, что из новых находок войдет в экспозицию декабрьской юбилейной выставки памяти Алишера Навои?

Война, блокада, не быть в Эрмитаже юбилейной выставке, и тем не менее художник М. Н. Мох, поднявшись из бомбоубежища в пустую и нетопленную эрмитажную комнату, упорно расписывал там фарфоровый бокал и фарфоровую коробочку — украшал их рисунками, навеянными стихами узбекского поэта. Из университета он приволок на саночках даже муфельную печь для обжига фарфора. А за стеной, в пожарной команде, его эрмитажные друзья-востоковеды обсуждали объемистые рукописи, которые должны были быть зачтены на научных заседаниях в честь Навои, — не было бы войны, эти рукописи вошли бы в юбилейные сборники, их напечатали бы юбилейные номера журналов. Но была война, и единственное, что возможно было сейчас опубликовать, это только маленькую заметку, которую одним пальцем печатал на машинке Б. Б. Пиотровский для эрмитажно-го «Боевого листка»:

### «ЮБИЛЕЙ НАВОИ»



Над развалинами домов переднего края брезжил поздний рассвет. Войдя в блиндаж, вестовой из Политотдела разбудил спавшего под шинелью пожилого капитана, поэта армейской газеты.

— Вас в Политотдел, товарищ капитан. Срочно.

«Тяжел сон после ночного дежурства, — начинает свои воспоминания об этом дне старейший ленинградский поэт Всеволод Александрович Рождественский. — Не сразу вошли в сознание низкий потолок блиндажа, слабый огонечек коптилки на сколоченном из фанерных ящичков столе. Я привычно надел шинель, потуже затянул ремни и, нагнувшись в дверях, вышел на свежий воздух. Путь был недалеким. В подвале полуразрушенного дома, в низкой сводчатой камерке, сидел за столом батальонный комиссар с опухшим от бессонницы лицом.

— Вот, — сказал он, протягивая мне бумажку. — Это — предписание. Куда, хотите знать? В Ленинград. — И, выдержав некоторую паузу, добавил, неожиданно улынувшись: — В распоряжение Государственного Эрмитажа. В двадцать четыре ноль-ноль быть обратно.

Я повернулся по-военному и вышел, не успев даже удивиться. Уж куда-куда могли послать, но в Эрмитаж?!

При скудном свете пасмурного дня я развернул врученное мне предписание. К нему была приложена слепо отпечатанная на узкой полоске повестка. Из нее я узнал, что сегодня, 10 декабря 1941 года, в помещении Эрмитажа состоится торжественное заседание, посвященное 500-летию Алишера Навои. Мне предстояло прочесть свои стихотворные переводы.

Сборы были недолги, да и дорога — не столь уж длинной. Фронт проходил тогда в непосредственной близости от городских окраин. До Обводного канала я добрался на какой-то попутной полуторатонке, а там уж пришлось идти пешком — трамваев не было...»

Накануне, 9 декабря, были отменены еще восемь маршрутов. Трамвайное движение в Ленинграде фактически прекратилось. Занесенные снегом вагоны застыли на занесенных снегом рельсах. Запорошен снегом и газетный щит с «Ленинградской правдой». Газета занимает сегодня только половину щита: 10 декабря «Ленинградская правда» впервые вышла не на четырех, а на двух страницах.

Улицы безлюдны.

«...Я шагал по почти пустынным улицам, вдоль безмолвных домов с забранными фанерой магазинными витринами. Со стороны Пулкова время от времени ухали тяжелые, полузаглушенные удары, затем слышался тонкий продолжительный свист и чуть спустя вновь ухал уже более тяжелый и близкий удар, на этот раз где-то в самом городе. Шел обычный дневной обстрел.

Вот уже Невский, непривычно пустой, онемевший. По Садовой, мимо мрачной громады Инженерного замка, мимо обнаженных деревьев Летнего сада я вышел на показавшуюся бесконечно оголенной пустыню Марсова поля. То тут, то там бугрились на ней землянки зенитчиков, и тонкие стволы орудий торчкообразно глядели в затянутое туманом ленинградское небо...»

Дворцовая набережная...

Мостик через Зимнюю канавку...

Служебный подъезд Эрмитажа, расчищенный от снежных заносов, сугробы по сторонам...

В служебном подъезде академик Орбели встречает гостей. Одни доплелись сюда из своих заиндевевших квартир, ставших вдруг невероятно далекими от Эрмитажа, другие пришли в Эрмитаж из фронтовых блиндажей;

находившихся в непостижимой близости от Дворцовой набережной.

«...В довольно просторной и очень холодной комнате — окнами на Неву — было не так уж много народу. В плотно закутанных фигурах, сидевших на беспорядочно расставленных стульях, я не без труда узнавал знакомые лица — до того изменили их лишения блокадного города.

Академик И. А. Орбели, директор Эрмитажа, занял председательское место. Скинув подобие какого-то верхнего, сильно обтрепанного одеяния, он остался в одном ватнике и шарфе, окутывавшем шею. Длинная седеющая борода беспокойно ерзала на его груди. Несколько сутулясь, он предупреждающе поднял костлявую руку. Большие темные глаза его постепенно разгорались по мере того, как он, уже начавши речь, все выше и выше восходил по ступеням взволнованных, увлекавших его самого и слушателей, убедительно живых интонаций. Не помню, конечно, его слов в текстуальной точности, но основной их смысл остался в памяти. Он говорил:

— В необычное время, переживаемое нашим городом и всей Советской страной, в невероятной обстановке собрались мы, чтобы отметить замечательную дату в культурной жизни советских народов, вспомнить оставшееся бессмертным имя великого поэта и просветителя Алишера Навои. Уже один этот факт чествования поэта в Ленинграде осажденном, обреченном на страдания голода и стужи, в городе, который враги считают уже мертвым и обескровленным, еще раз свидетельствует о мужественном духе нашего народа, о его несломленной воле, о вечно живом гуманном сердце советской науки!..

В эту минуту мощный глухой удар, заставивший содрогнуться воздух и задребезжать стекла, ухнул где-то, казалось, совсем близко. Все бросились к окнам. Почти сразу же грянул второй удар, и на Неве взметнулся, рассыпая брызги, водяной столб.

— Спокойно, товарищи, — произнес, почти не повышая голоса, Орбели и предложил перейти в бомбоубежище. Но все снова заняли свои места. — Хорошо, — сказал Орбели. — Заседание продолжается.

И заседание продолжалось. Читались доклады, стихи Навои, переведенные поэтами и востоковедами, звучали они и в оригинале — древние, вновь ожившие слова, говорящие о мире, о радости жизни, о торжестве человеческого разума над тьмой жестокости и угнетения».

Все бедствия, которые древние и средневековые историки описали в хрониках знаменитых осад неприступных крепостей, взятых измором и сожженных дотла, все силы разрушения и смерти, вызванные из темной бездны истории и многократно увеличенные новейшими орудиями разрушения — дальнобойной артиллерией и бомбардировочной авиацией,— все, решительно все обрушил фашизм на великий русский город, колыбель социалистической революции, легендарный Ленинград. Но город Ленина стоял непоколебимо перед лицом врага, беспримерны были воинские подвиги его защитников, необорима была нравственная сила его гражданского гарнизона.

Свистом снарядов и бомб, неумолчным грохотом взрывов отдалась в осажденном Ленинграде секретная директива Гитлера «стереть город Петербург с лица земли».

Снаряды и бомбы рушили дома, превращали в груды щебня заводы и дворцы. А в полумраке эрмитажного бомбоубежища перед устремленным вдаль взором русского архитектора вставляли образы величественных зданий, которые он возведет после победы — залитый солнцем стадион, шумящая на балтийском ветру листва приморского парка.

«Сдавать город нельзя,— записывает в блокадный дневник А. С. Никольский.— Лучше умереть, чем сдать. Я твердо верю в скорое снятие осады и начал уже думать о проекте триумфальных арок для встречи героических войск, освободивших Ленинград».

Голод бродил по осажденному городу, холод замораживал истощенных голодом людей. А в Школьном кабинете Эрмитажа изможденные голодом и холодом люди, забывая про голод и холод, читали и слушали научные доклады о жизни и деяниях узбекского поэта, творившего в XV столетии.

«Это — не простая форма самоуспокоения, ухода от действительности, замыкания в монастырскую келью науки,— писал Б. Б. Пиотровский о юбилее Навои в эрмитажном «Боевом листке».— Это работа по изучению культуры народов Советского Союза, сплотившихся в единую братскую семью, способствующая развитию этой культуры, победить и поработить которую не в силах никакие технические средства, оказавшиеся в руках врагов нашей Родины».

Гости, приглашенные на празднование пятисотлетия Навои, покинули Эрмитаж. В Школьном кабинете, подле столика, заменявшего докладчикам кафедру, продолжал сидеть, откинув голову на спинку стула, один из главных участников торжества, молодой ученый Николай Лебедев, специалист по многим восточным литературам. Он не в силах был подняться.

Все это военное полугодие Николай Федорович Лебедев ни в чем не отставал от других сотрудников Эрмитажа — таскал песок в залы и на чердаки, закладывал кирпичом окна в подвалах, занимал пожарный пост в часы воздушных тревог, работал по своей научной теме. Дней за пять до юбилея он почувствовал себя совсем худо; что с ним происходит, было ему ясно и без диагноза врачей: дистрофия, голодная болезнь...

Друзья помогли ему добраться до Школьного кабинета: он не примирился бы с тем, что торжества в честь поэта, которого он усердно переводил много лет, пройдут без его участия. Содержание докладов он знал во всех подробностях по ночным бдениям в пожарной казарме, и ему было интересно, как воспримут доклады его друзей приглашенные в Эрмитаж гости; среди собравшихся он увидел крупнейших ленинградских ученых. Он слушал затем переводы из Навои, которые читал прибывший с передовой поэт Всеволод Рождественский, — кое-что из этих стихов он тоже перевел, и его радовало, что отдельные строки ему, востоковеду, удалось перевести если не лучше, то во всяком случае точнее.

Потом Орбели предоставил слово ему. — Читайте сидя, — сказал Орбели и объяснил присутствующим: — Николай Федорович себя плохо чувствует. — Он читал сидя, читал свои переводы стихов Навои и стихи Навои в оригинале, на староузбекском языке. Читать он старался погромче, но понимал, что читает тихо. Он отобрал много стихов, но друзья позволили ему прочесть только малую часть. Действительно, он очень устал.

Торжества окончились, — так и не сбылась его мечта — самому публично прочесть в торжественный день юбилея Навои все, что он перевел на великий русский язык с языка великого узбека. Смерть неотвратимо подступала к Николаю Лебедеву, он ощущал на своих бескровных губах ее ледящее дыхание, но дело, которому он посвятил свою жизнь, нуждалось в аудитории, требовало обнародования, рвалось наружу из уже перехвачен-

ного голодной петлей горла обессиленного поэта. И никто не посмел ему отказать.

«Двенадцатого декабря,— вспоминает Б. Б. Пиотровский,— было второе заседание, посвященное Навои, на этот раз целиком занятое чтением переводов Лебедева. После этого он слег и не мог уже подняться. Но когда он медленно умирал на своей койке в бомбоубежище, то, несмотря на физическую слабость, делился планами своих будущих работ и без конца декламировал свои переводы и стихи. И когда он лежал уже мертвый, покрытый цветным туркменским паласом, то казалось, что он все еще шепчет свои стихи».

*Noli tangere circulos meos!*  
Не трогай мои чертежи!

## 8

В Эрмитаж Сергей Александрович Жебелев пришел с утра; его стариковские боты оставили глубокие следы в снежных сугробах, за ночь опять наметенных пургой у служебного подъезда. Вчера и третьего дня он присутствовал на научных заседаниях в честь Навои и сегодня счел своим долгом зайти к Иосифу Абгаровичу, чтобы поблагодарить Эрмитаж за устройство этого, как он выразился, «праздника науки».

В минувшем блокадном сентябре академику Жебелеву исполнилось семьдесят четыре года, и был он последним из еще оставшихся в живых учителей академика Орбели. Они долго просидели вдвоем, два старых ученых, два академика, учитель и ученик. «Я очень рад,— говорил Жебелев,— что наука развивается у нас и в таких трудных условиях. Ведь этим мы, ученые, боремся с фашизмом».

Разговор перешел на радостные вести с фронтов: вчера поздно вечером Совинформбюро передало долгожданную весть о разгроме немцев под Москвой, а тремя днями раньше стало известно, что наши войска отбили Тихвин. Орбели не преминул заметить: сообщение о Тихвине было опубликовано 10 декабря — как раз, когда в Эрмитаже проходило первое заседание, посвященное Навои, а о победе под Москвой в Эрмитаже узнали сразу после вчерашнего заседания.— Во всякой случайности есть своя закономерность, не так ли, Сергей Александрович?

Академик Жебелев лестно отозвался о всех докладах, похвалил работы Лебедева. «Я очень рад,— сказал он,— что присутствовал на этом празднике науки».

Слова старика Жебелева вторили мыслям Орбели, совпадали с его приподнятым настроением, которое, вероятно, испытывает полководец, одержав победу на поле боя. Это чувство переполняло Орбели с того самого момента, как он, привстав из-за столика, объявил открытым торжественное заседание памяти Навои, и сейчас, когда он слушал своего старого учителя, ему впервые пришла на ум еще одна особенность торжеств Низами и Навои в Эрмитаже, на которую он впоследствии обратит общее внимание в заметках «О чем думалось в дни и ночи блокады Ленинграда».

«Случилось так, что в зале не было ни одного человека, в жилах которого текла бы азербайджанская или узбекская кровь. Но это не имело никакого значения. Для собравшихся здесь, для советских граждан, этот день был праздником. Чувствовалось это и в том, как продуманны и хороши были доклады, как отделаны были стихотворные переводы из Навои, сделанные молодым русским ученым, через несколько дней после праздника ушедшим из жизни, как любовно и мастерски были расписаны в эти дни русским художником фарфоровые предметы на темы из творений Навои, как торжественно были освещены лица всех, кто был в зале и кто единодушно отверг предложение перейти ввиду усилившегося обстрела в безопасное бомбоубежище».

— Да,— сказал Орбели,— это был поистине праздник дружбы народов,— и Жебелев с ним согласился: да, да, праздник в Эрмитаже имеет не только научное, но и политическое значение; да, совершенно верно — молодые ученые, выступавшие за маленьким столиком в Школьном кабинете, с высокой трибуны мирового музея еще раз подтвердили миру, что свет победит тьму.

Они поговорили о выросшей в Эрмитаже молодежи, о старшем поколении. Жебелев осведомился о старых друзьях по Эрмитажу.

— Все работают, все едят,— ответил Орбели. Он рассказал, как Наталия Давыдовна Флиттнер, пешком, опираясь на палочку, странствует по всему городу, читает лекции в воинских частях, в госпиталях.

— Всем голодно, всем холодно, а едят, работают...

Жебелев справился о Вальтерах, эрмитажном библиотекаре и его супруге, античнице. Орбели промолчал: к

чему рассказывать Жебелеву, что Вальтер скончался недавно в бомбоубежище.

Промолчал и Жебелев. Потом он заговорил об умершем еще в восемнадцатом году академике Якове Ивановиче Смирнове, хранителе Эрмитажа и профессоре университета, своем близком друге и тоже университетском наставнике Орбели.

— Да, незабвенный Яков Иванович...— Орбели и сам часто думал о покойном академике Смирнове, и в заметках «О чем думалось в дни и ночи блокады Ленинграда» он напишет:

«Это был замечательный русский человек, который, невзирая на смертельную болезнь, не считал возможным пропустить хотя бы одну лекцию. Собрав последние силы, в сырую и холодную осень 1918 года пришел он в Музей древностей университета. Он принес тяжелые папки с воспроизведениями замечательных памятников искусства Востока, пришел, но уйти уже был не в силах. Это было за три дня до его смерти».

— Да,— сказал Орбели,— у меня были достойные учителя....

Они обнялись, расцеловались. Орбели проводил Жебелева до подъезда, помог ему перебраться через сугробы. Жебелев побрел по набережной, и Орбели долго глядел вслед удаляющемуся старику. Не последнее ли это свидание с последним из его учителей?



Три дня, пока все в Эрмитаже вертелось вокруг Навои, он не бывал в залах. Поразительно: ревматизм дал ему передышку на все дни, которые он был занят юбилеем. Сегодня с утра опять болели ноги, ныли суставы, но он решил не отменять директорского обхода. Обход он начнет со второго этажа — когда натопчешься, подниматься по лестнице будет труднее.

Он переходил из зала в зал. Дворцовые зеркала отражали его сутулую фигуру, поношенный ватник, черную меховую шапку. В зеркале отразилось забитое фанерой окно. Зеркало отразило иней на стене. Орбели дотронулся до стены — лед.

Холодом несет от пустых рам на стенах — то ли это так только кажется, то ли обнажившиеся мерзлые стены и впрямь отдают нежилым залам сквозное дыхание декабрьских морозов? Мысли, как всегда, когда он обхо-

дил Картинную галерею, переключались на Урал. Хватит ли угля Левинсону-Лессингу до конца зимы? Из Свердловска давно нет известий, почта приходит теперь от случая к случаю. Зима на Урале долгая, а все, кто уехал с первым эшелонном, не взяли с собой теплых вещей. Это он убеждал их не брать ничего лишнего. Слава богу, под Москвой победа, немцы в пух и прах разгромлены под Москвой, может, это и есть начало перелома в войне...

Ему явственно представились и до потолков забитая ящиками Свердловская картинная галерея, которую так подробно описал в письме Левинсон-Лессинг, и костел посреди белого заснеженного скверика, и купеческий особняк на площади, которая стала называться площадью Народной мести после того, как в этом особняке был казнен Николай II. Орбели усмехнулся: исторический парадокс — в доме, где свершился суд над последним русским царем, нашли себе пристанище вещи из Зимнего дворца.

В парадных залах Зимнего, огромных, пустых, гулких, было еще холоднее, чем в Новом Эрмитаже. Бомбы пока щадят и Зимний и Эрмитаж. Фугас разорвался во дворе Эрмитажного театра, тут же, за Зимней канавкой, но здания Эрмитажа и Зимнего пока невредимы, только осколки калечат фасады и взрывная волна вышибает оконные стекла.

Он остановился у зашитога фанерой окна. Фанера отошла от рамы, и сквозь образовавшуюся щель на подоконник намело порядком снега. Снег сваливается на паркет, битое стекло все еще не убрано... Ночью, должно быть, кто-то наскочил сослепу на кучу песка возле дверей, разворотил ее, разнес песок по всему залу, и никто не подмел. Придется опять выговаривать людям, а вправе ли он что-нибудь им сказать? Люди работают из последних сил, пухнут от голода. Тихвин отбит у немцев, может быть, легче станет Ленинграду...

Орбели спустился вниз, в залы античного искусства. Он прошел через зал Афины, через зал Геракла, повернул обратно. Здесь не угнетала, как наверху, нежилая пустота: в нижних залах Нового Эрмитажа хранились вещи, снесенные с верхних этажей.

Он задержался в зале Лебеда. В зале, построенном по образцу античных двориков, было сложено средневековое оружие. Груды пик, алебард, двуручных мечей, панцербрехеров громоздились на мозаичном полу между

пустыми постаментами увезенных на Урал античных скульптур.

А через зал Юпитера вообще не пройти. Шестнадцатитонный громовержец, повелитель богов древнего Рима, по-прежнему восседает в центральной нише названного его именем зала, бесстрастно глядит теперь со своего трона на штабеля картин вокруг пустых постаментов, на европейский резной камень и на изделия из уральских самоцветов, тесно, впритык друг к другу разложенные по всему полу — от стены к стене; только две узенькие тропинки оставлены для прохода. Осторожно ступая среди уральских самоцветов, директор Эрмитажа пересек зал Юпитера.

Его круговой маршрут начался и закончился в вестибюле служебного подъезда. На ступенях лестницы он увидел запорошенные снегом рюкзаки и свертки, обвязанные шпагатом, — значит, сегодня люди снова ходили в Соляной переулочек, перетаскивали оттуда вещи.

Вещи из Соляного переулка стали перевозить еще осенью. Там, за Марсовым полем, по ту сторону Летнего сада, находился музей, основанный в конце прошлого века меценатом Штиглицем, — в двадцатых годах музей этот стал филиалом Эрмитажа. Блокада помешала эвакуировать оттуда богатые коллекции предметов прикладного искусства, они остались в Соляном переулке.

Однажды — это было еще осенью — на столе дежурного по Эрмитажу зазвонил телефон. Дежурный снял трубку.

— Говорят из Штиглица, — услышал он взволнованный женский голос. — В нас попало.

И связь прервалась.

Орбели поспешил в Соляной. — Фугасная бомба, — доложили ему. — Люди невредимы, часть вещей погибла. — В здании еще не выветрился пороховой запах; стены в трещинах, местами видна кирпичная кладка, полы покрыты осыпавшейся штукатуркой. Прямое попадание — насквозь пробиты и свод, и стена галереи. Разнесен вдребезги стеклянный купол центрального зала, и на паркет капает мелкий осенний дождь. Осколки стекла под ногами, щепы красного дерева, битый фарфор среди обломков музейной витрины...

В ту ночь ему приснилось, что в Новом Эрмитаже обваливается стена в зале с большим просветом. Идет дикая бомбежка, бомба разнесла стеклянный фонарь, разбила в щебень малахитовые вазы и столы, торшеры

из коргонского порфира, разорвала в клочья «Триумф императора» Тьеполо, огромную «Битву лапифов с кентаврами» Луки Джордано. Он вскочил в холодном поту и не сразу сообразил: все картины увезены, вазы и торшеры развинчены и лежат внизу. Заснуть он больше не мог. Он думал о филиале на Соляном — надо поскорее укрыть в эрмитажных кладовых все, что там уцелело, думал об Эрмитаже, который в любой час может постигнуть та же участь, думал о Петергофе и Пушкине — о погибших там художественных памятниках. И снова думал об увезенных на Урал эрмитажных коллекциях. Каждый блокадный день и каждую блокадную ночь он думал о них и знал, что о том же думают все в Эрмитаже.

«В тиши и мраке глубокого бомбоубежища Эрмитажа,— напишет он впоследствии,— мы думали о дальнейших возможностях лучшего обеспечения целостности многих тысяч замечательных памятников искусства, перенесенных из музея в более укрытые части громадного здания. Постоянно думалось и о тех бесчисленных сокровищах величайших творений искусства и памятниках человеческой культуры, которые были отправлены в далекий тыл. Всегда тревожила мысль, хороши ли в уральском городе климатические условия и обстановка хранения этих сокровищ, в большей части подлинно уникальных. Волновала забота о том небольшом коллективе товарищей, которые были отправлены в первые дни войны с коллекциями Эрмитажа для наблюдения за их сохранностью и здоровьем — здоровьем потому, что памятники искусства зачастую еще более подвержены заболеваниям, чем живой организм».

В Соляном переулке уцелевшие музейные вещи (пока только отдельные вещи) стали покрываться плесенью, подвергаться коррозии, начали «заболевать» раньше, чем их удавалось вывезти из полуразрушенного здания. Грузовика не было, в машине отказали даже академику Орбели, и все пришлось перевозить самим — на тележках, на тачках. Наступила зима, колеса тележек не могли одолеть снежных заносов на улицах, но все в Эрмитаже, кто еще способен был проделать два некоротких конца — до Соляного и обратно — продолжали перетаскивать коллекции из Музея Штиглица. Вещи потяжелее они перетаскивали на саночках и волокушах, впрягшись в веревочные лямки, вещи полегче переносили в заплечных мешках или просто так — на руках.

Запорошенные снегом рюкзаки и свертки лежали и сегодня в вестибюле служебного подъезда. Орбели постоял у только что принесенных вещей,— может быть, теперь легче станет Ленинграду, может быть, теперь удастся получить машину...

С ним поздоровались. В военном, вышедшем из партбюро, Орбели не сразу узнал сотрудника музея Калинина,— в армейской шинели он видел его впервые. Калинин явился в Эрмитаж с поручением от военкома полка. У них, в запасном полку, рассказал Калинин, предстоит выпуск младших командиров, окончивших курс боевой подготовки. Тотчас же после выпускного вечера они отправятся на передовую. С партбюро Эрмитажа уже есть договоренность: в выпускном вечере примет участие группа научных сотрудников,— не приедет ли Иосиф Абгарович, чтобы добрым словом напутствовать молодых воинов, уходящих в бой?

У себя в кабинете Орбели пометил на перекидном календаре: «22 декабря — выступление в воинской части».

Не много листов осталось на календаре...

Стрелковый запасной полк занимал здание какого-то клуба, неотапливаемое, с зафанеренными окнами. Электричество не горело, и только в комнатах, где размещались роты, на столах писарей чадили, не разгоняя темноты, маленькие коптилки.

Прибыли шефы — ученые из Эрмитажа. Красноармейцы и командиры, наталкиваясь в темноте друг на друга, сходились в зрительный зал.

Академик Орбели вручил военному два килограмма церковных свечей. Свечи прилепили к перевернутым вверх дном жестяным кружкам и расставили по две у края стола президиума.

Командир полка зачитал приказ о присвоении званий младшим командирам, и военком объявил:

— Сейчас выступит академик Орбели, директор Государственного Эрмитажа.

«Его страстная речь находила живой отклик в сердце каждого слушателя,— записал В. В. Калинин ночью в свой дневник.— С болью рассказал он о том, что творят фашистские варвары на советской земле. Уничтожены знаменитые фонтаны Петергофа, «Самсон» спилен и увезен в Германию. От дворцов остались одни развали-

ны. Сгорел Монплеизир — драгоценный памятник эпохи Петра I. Вырубаются вековые парки в Пушкине, Петергофе, Павловске. Древние русские города Новгород и Псков лежат в развалинах. Гитлер задался безумной целью — уничтожить культуру великого русского народа:

Так говорил Орбели, и мне никогда не забудется его лицо, слабо вырисовывавшееся при свете свечей в черном провале стены, его сверкающие глаза, его взволнованные слова:

— Идя сегодня на фронт, молодой воин, защитник Ленинграда, помни, что ты призван отстоять город Ленина, очаг мировой культуры, от фашистских варваров. Мы, ленинградцы, перенесем и голод и холод во имя великой цели. Родина благословляет вас на великий подвиг!

Зал слушал, затаив дыхание.

После отъезда шефов военком сказал мне:

— А знаешь, товарищ Калинин, я немного боялся за твоего академика. Ну, думаю, придет, разведет здесь перед бойцами ученую канитель часа на два,— прерывать неудобно, а людям в бой идти... Получилось, однако, неплохо...»

В подвале было душно и сыро. Орбели потушил свечу.

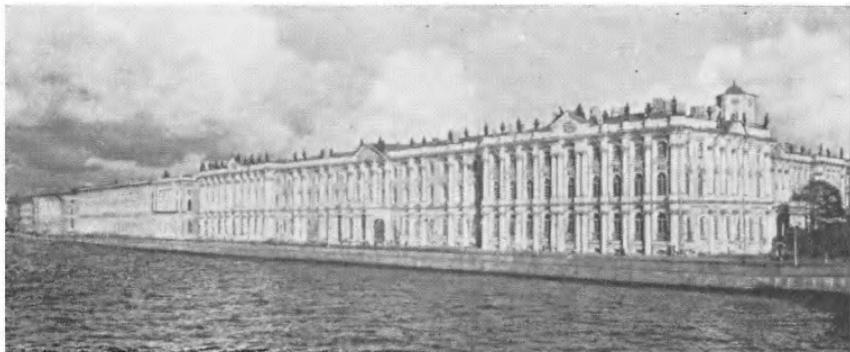
«О чем думалось в дни и ночи блокады Ленинграда»...

Молодые воины, которые сегодня слушали его в темноте зрительного зала, наверно, уже ушли в бой. Сколько жертв, сколько бед и страданий! А Ленинград стоит, несмотря ни на что, сдерживает стотысячные армии врага. По сути, Ленинград оберегает и его родную Армению, Араратскую долину, Ереван...

«Что станется с этой цветущей долиной и с этим прекрасным, залитым солнцем городом и тысячами маленьких смуглых черноволосых ребятишек, если и туда залетят с юга фашистские бомбовозы или начнут залетать снаряды из-за пограничной реки, не более отдаленной от Еревана, чем места расположения фашистской артиллерии в пригородах Ленинграда? Видел я совершенно отчетливо сквозь ночной мрак и сияющий Масис, и напоенный солнцем Ереван, так что казалось — протянешь руку, и пальцы коснутся не холодных кирпичей

Так выглядели эрмитажные здания в первый день войны.

В штабах гитлеровской артиллерии, обстреливавшей Ленинград, Эрмитаж значился «целью № 9». Стены, истерзанные снарядами...



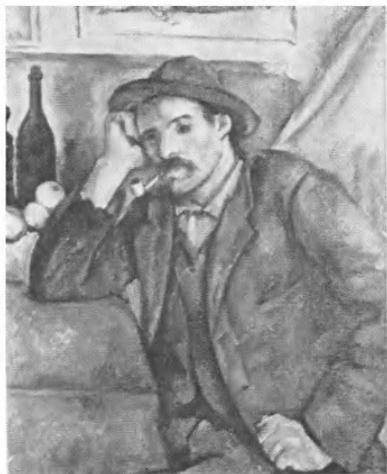
Эвакуация! Во всех залах Картинной галереи полотна покидали свои золоченые рамы.

П. Рубенс.  
«Портрет  
камеристки».

П. Сезанн.  
«Курильщик».

Б. Мурильо.  
«Мальчик  
с собакой».

---



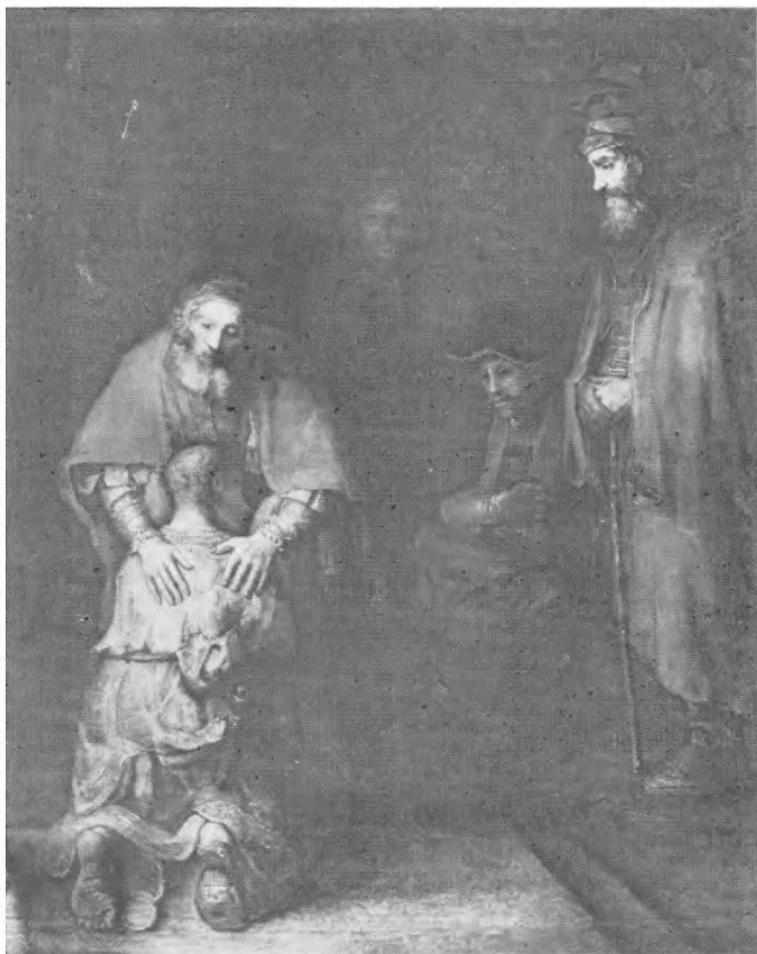
Прислонившись к стенам  
и простенкам, картины  
ожидали прихода  
упаковщиков.

Ван Дейк.  
«Автопортрет».



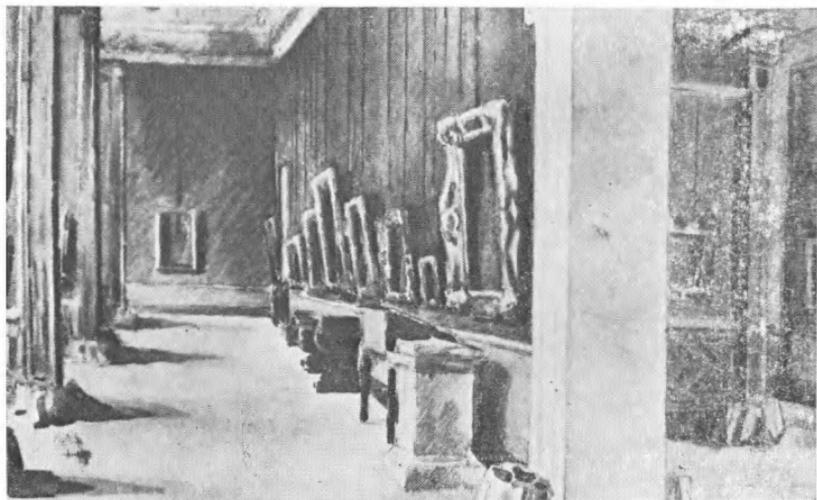
«Возвращение блудного сына» — великое, может быть самое великое, произведение Рембрандта.

---



Зал Рембрандта в Картинной галерее после эвакуации — пустые рамы повешены на свои места...  
Рисунок В. В. Милутиной.

Музейный каталог воплотился в поящичные ведомости...  
Фотография 1941 года.

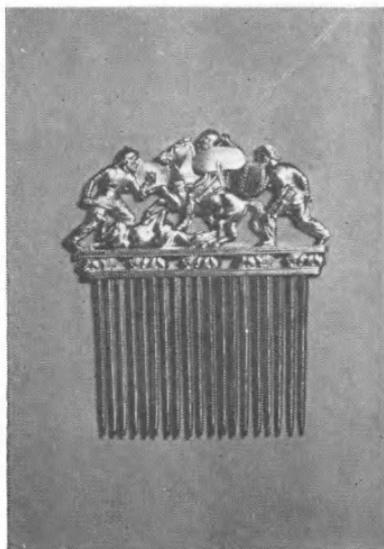


Сасанидское  
серебро. На блюде  
изображена охота  
царя Шапура II  
на львов.

Чертомлыкская  
ваза.

Скифское золото.  
Гребень из кургана  
Солоха.

---



Кумская ваза, издавна  
признанная Царицей ваз.

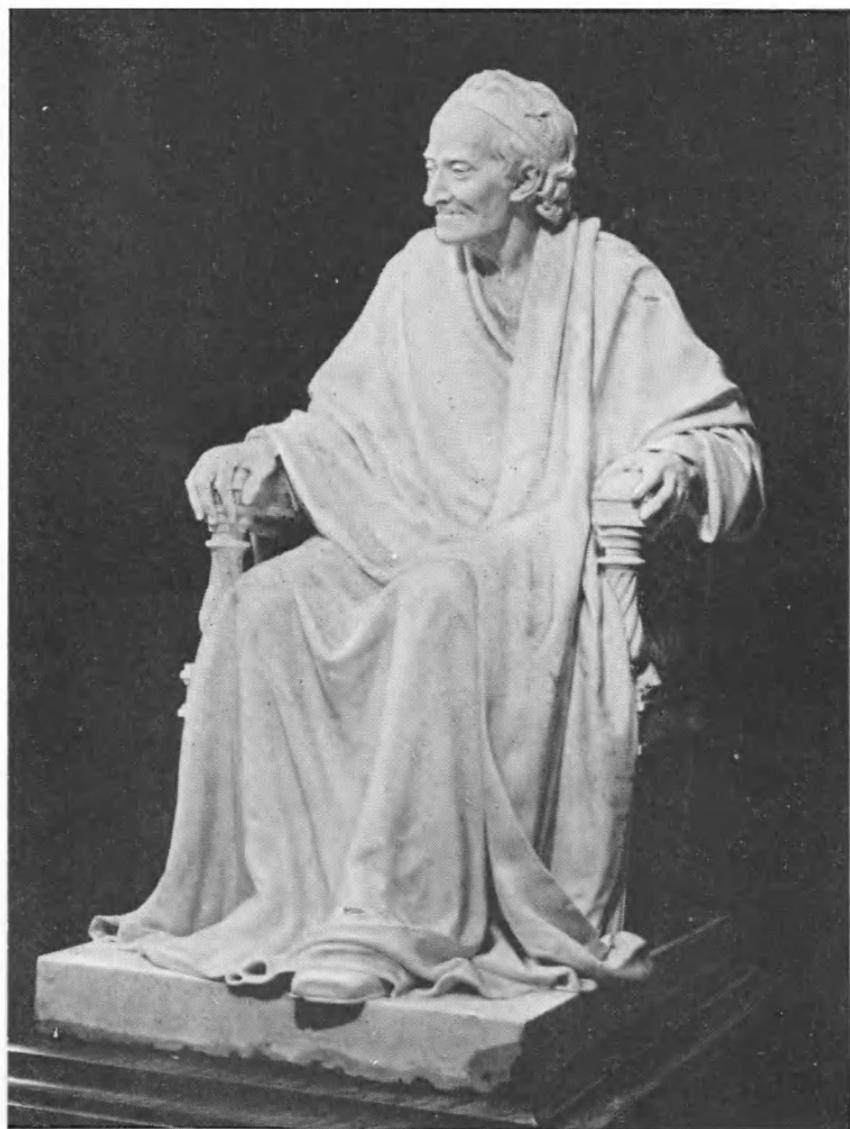


В одном музейном зале готовили в дорогу античную статую, некогда приобретенную Петром I. в другом — упаковывали «вощенный портрет» Петра I, выполненный скульптором Карло Растрелли  
Венера Таврическая.

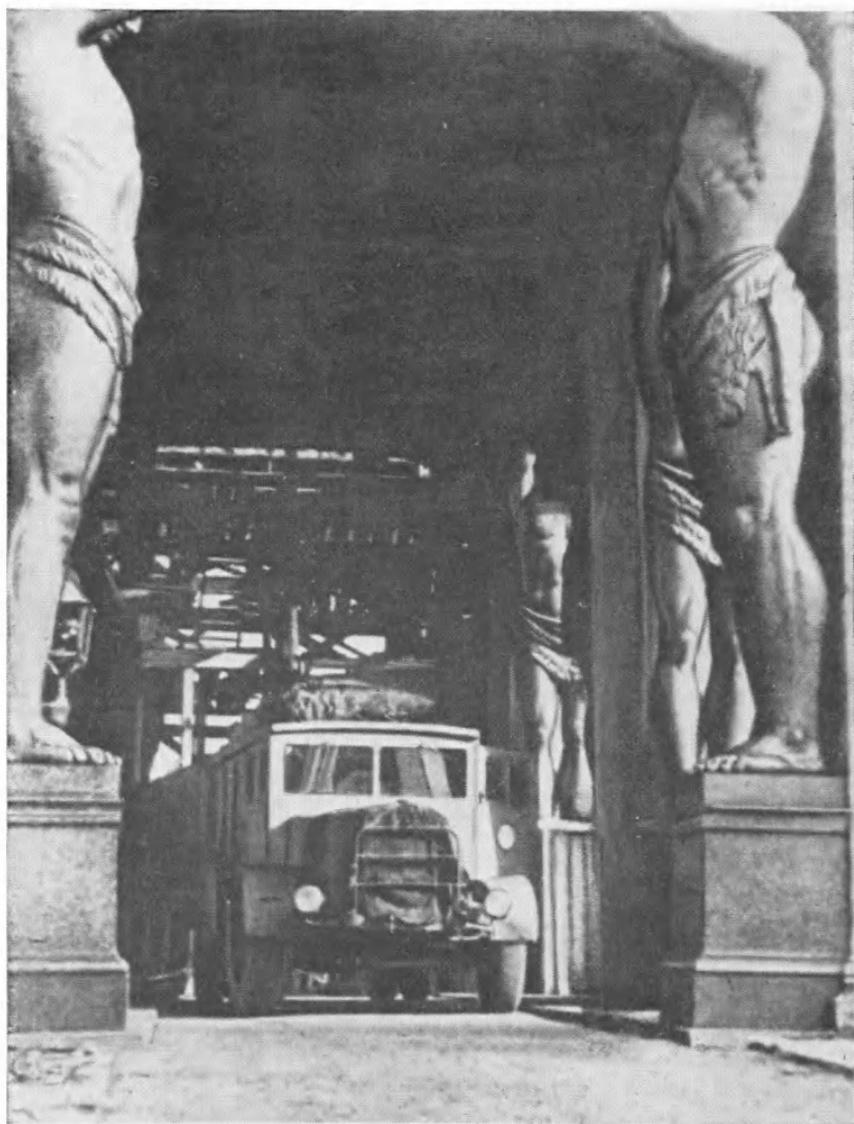
«Восковая персона».



В последний день июня проводили в эвакуацию мраморного Вольтера.  
Ж.-А. Гудон. Вольтер.



От подъездов Эрмитажа отходили машины, нагруженные опломбированными ящиками.



«Эвакуация отшумела, нача-  
лась наша жизнь на крышах».  
Фотография 1941 года.

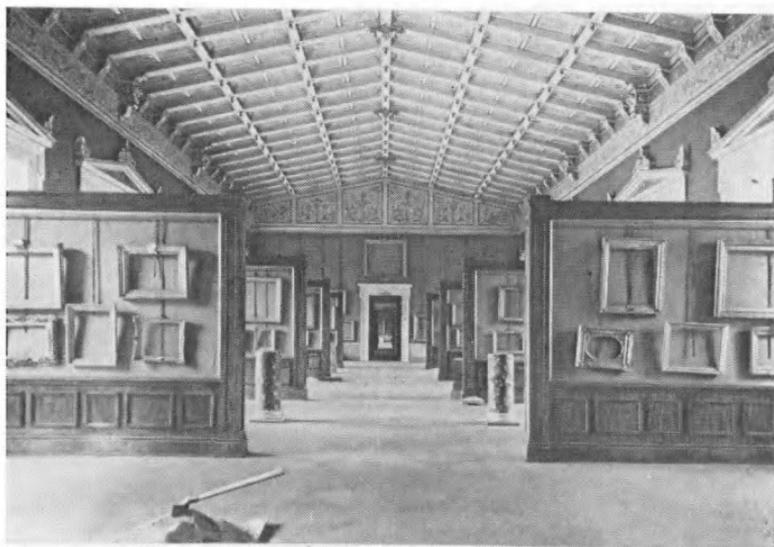
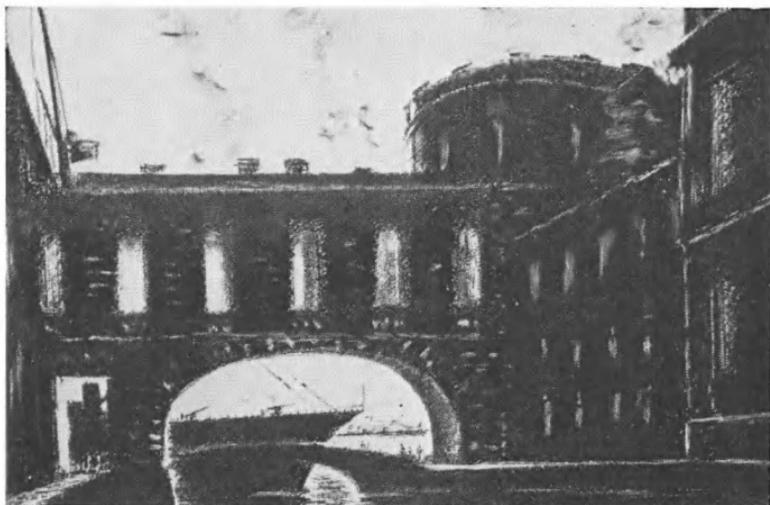


Дежуря на крышах Зимнего дворца, бойцы эрмитажной МПВО наблюдали страшный пожар на противоположном берегу Невы.

Пожар «американских гор». Рисунок А. С. Никольского.

Холодом веет от пустых рам, но эти же пустые рамы напоминают и о том, что лучшие эрмитажные вещи вовремя вывезены в глубокий тыл...

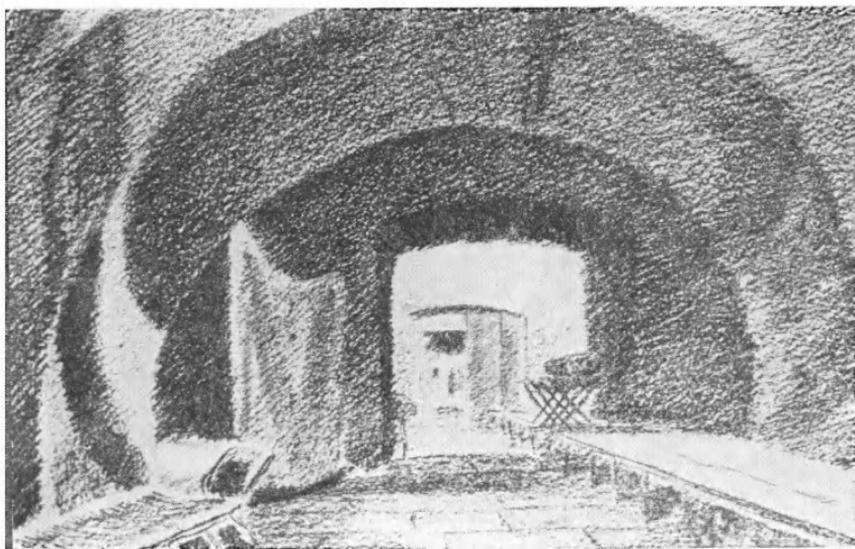
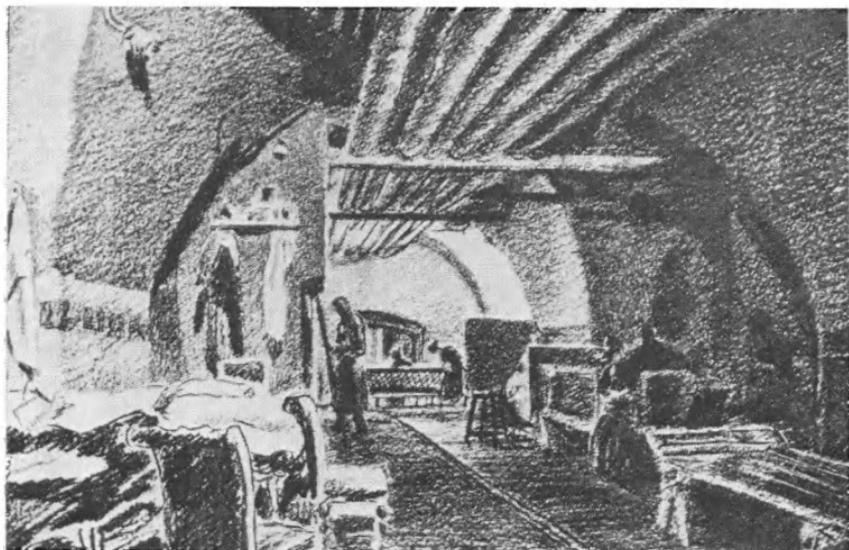
Шатровый зал. Фото 1941 года.



Осенью и зимой 1941 года двенадцать бомбоубежищ Эрмитажа  
насеяло две тысячи человек.

Бомбоубежище № 5. Рисунок  
А. С. Никольского.

Бомбоубежище № 3. Рисунок  
А. С. Никольского.



Приглашение на это торжественное заседание в Эрмитаже получили шестьсот ленинградцев.

По сигналу воздушной тревоги занимали работники Эрмитажа пожарные посты. Пожарный пост у античной статуи Венеры Эрмитажной.

1141—1941

Государственный Эрмитаж приглашает Вас на  
**ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ**  
посвященное 800-летию со дня рождения  
великого Азербайджанского поэта

**НИЗАМИ ГАНДЖЕВИ**

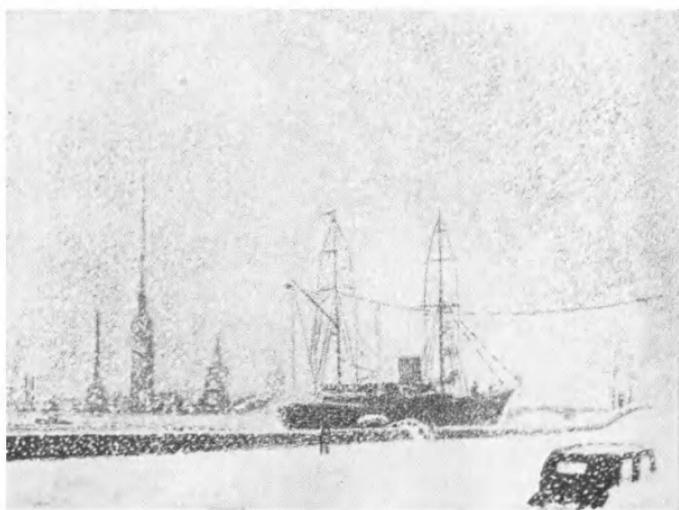
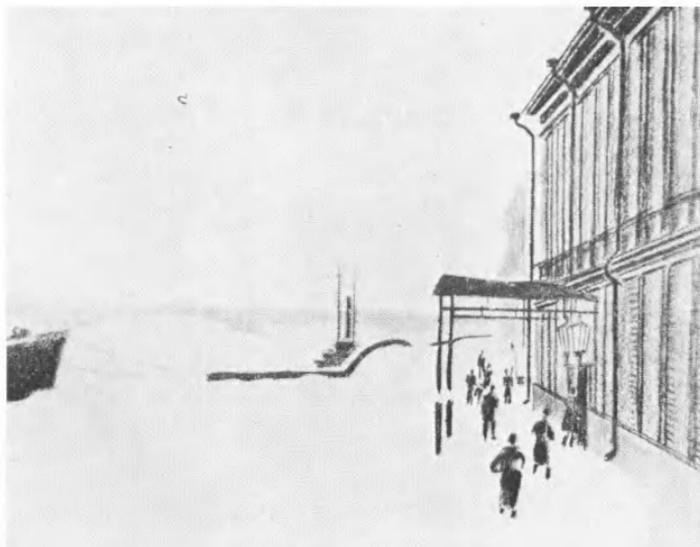
Заседание состоится 19 октября 1941 г. в 14 часов.  
вход с Малого подъезда, Набережная 9 Января, 34

При входе в Эрмитаж обязательно предъявление  
документов и настоящего билета



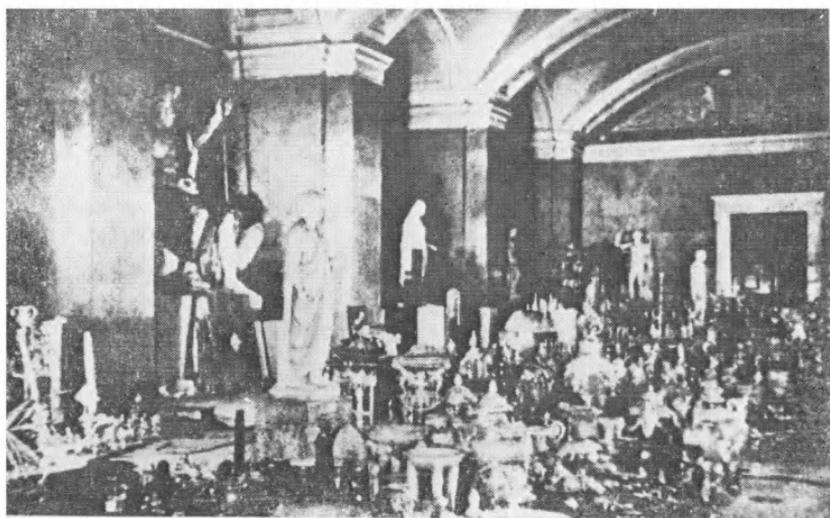
Первая блокадная зима.  
Служебный подъезд Эр-  
митажа — хоженный-пере-  
хоженный... Рисунок А. С.  
Никольского.

Матросы перекинули про-  
вод от «Полярной Звезды»  
к Эрмитажу.  
«Полярная Звезда» на Не-  
ве у Зимней канавки. Ри-  
сунок А. С. Никольского.



Довоенный вид зала Юпитера.

У ног шестнадцатитонного громовержца раскинулись изделия из уральских самоцветов. Зал Юпитера в годы блокады.



**Эрмитажа, а раскаленных от солнечных лучей тесаных туфовых и базальтовых плит Еревана».**

Холодные кирпичи подвала. Тревоги. Надежды. Горести. Неотвязные мысли каждую ночь...

В конце декабря умер Жебелев, и вспомнились двадцатые годы, когда он, еще молодой профессор Орбели, вместе с академиками Ольденбургом, Марром, Жебелевым перестраивали жизнь бывшего императорского музея, — Эрмитаж только начинал свой новый, советский путь. Вспомнилась и последняя беседа с Жебелевым.

«В его словах, во всех его мыслях, которыми он со мной тогда поделился, я почувствовал еще раз, как велика сила человеческого духа, духа человека, который в течение всей своей жизни неуклонно и свято исполнял свой долг — долг ученого, учителя, гражданина».

Как велика сила человеческого духа...

В тишине и мраке бомбоубежища отчетливо возникали лица живых и лица мертвых. Николай Лебедев, прикрытый туркменским паласом. Борис Пиотровский, корпящий над своими конспектами. И Борисов — как он исхудал! И Лисенков — работает, пишет, в бомбоубежище отдает детям куски своего мизерного пайка, а сам качается, как былинка на ветру. Один только Кубе старше Лисенкова по эрмитажному стажу — незадолго до войны праздновали тридцать лет его работы в Эрмитаже; он тоже много пишет, ходит на службу каждый день, еле передвигает ноги... У каждого — свое: Кубе живет своей майоликой, у Дервиза — серебро. Дервиз был и до войны тяжело болен — его в Эрмитаж привели под руки, когда увозили раку Александра Невского. У каждого — свое, и все сейчас занимаются всем: итальянцы и испанцы Щербачевой на Урале, и она тащит на саночках вещи от Штиглица, — и Мария Илларионовна Щербачева, и Наталия Михайловна Шарая, а каждой, должно быть, под пятьдесят.

И снова — лица живых. И снова — лица мертвых. Прикрытый туркменским паласом мертвый Лебедев. Старик Жебелев, удаляющийся по Дворцовой набережной.



О смерти академика Жебелева в Эрмитаже узнали 29 декабря, в тревожный для Эрмитажа день. Яростный артиллерийский обстрел района Дворцовой площа-

ди и Зимнего дворца начался с полудня. Снаряд попал в южный флигель Зимнего около Кухонного двора. Второй снаряд разорвался перед дворцовым фасадом, выходящим в сторону Адмиралтейства, и исковеркал осколками базы нескольких колонн. Третий снаряд ударил в портик с гранитными атлантами.

Орбели обошел очаги поражения. Раздробленный кирпич сгустками спекшейся крови багровел на снегу. Тяжелый карниз прогнулся, пересеченный глубокой трещиной. У одного из атлантов отбит кусок гранита — рваная рана на каменном теле.

Вечером директору Эрмитажа позвонили из Радиокomiteта: в канун Нового года, 31 декабря, Ленинград будут транслировать все радиостанции Советского Союза; не выступит ли у микрофона и Иосиф Абгарович — со словом из осажденного Ленинграда?

Орбели пометил на календаре:

«31 декабря — выступление по радио».

## 9

«Говорит Ленинград...»

Незнакомые голоса, доносившиеся из репродуктора, были голосами ленинградцев, и уже одно это взволновало свердловских эрмитажников. Затем они услышали голос Орбели:

— «...Через несколько часов кремлевские куранты пробьют полночь. Пусть же наступающий 1942 год станет годом наших побед над фашистскими варварами, вторгнувшимися на священную землю нашей Советской Родины!»

Ленинград... Эрмитаж...

Диктор объявил, что передача закончена. Надо было собираться на ночные дежурства.

В трех домах на трех свердловских улицах стояли две с половиной тысячи эрмитажных ящиков. Дежурные, сменяясь, пожелали друг другу скорейшего возвращения в Ленинград, счастливого Нового года.

«24.00. Обход помещений,— записал в журнале дежурный по зданию Картинной галереи.— Все в порядке».

«24.00. Все в порядке»,— записал дежурный по зданию Антирелигиозного музея на площади Народной мести. И такую же запись сделал в новогоднюю полночь дежурный по зданию костела:

«24.00. Все в порядке».

С той сентябрьской ночи, когда Левинсон-Лессинг сообщал в Ленинград, что эвакуированные вещи размещены, наконец, в трех предоставленных Эрмитажу зданиях, мало что изменилось в жизни Свердловского филиала. Небольшой коллектив, на который была возложена государственная задача сохранения эрмитажных сокровищ, пополнился двумя ответственными хранителями — в начале ноября воздушным путем прибыли из Ленинграда профессор М. Э. Матье и И. М. Лурье. В Свердловске находились теперь — каждый при своих вещах — руководители всех четырех отделов музея: заведующий отделом первобытной культуры А. А. Иессен, заведующий отделом античного мира А. А. Передольская, заведующий отделом Востока И. М. Лурье и возглавлявший филиал заведующий отделом истории западноевропейского искусства В. Ф. Левинсон-Лессинг. «Наличие в филиале значительного числа ответственных хранителей музейного имущества и ряда реставраторов, — писал В. Ф. Левинсон-Лессинг, — обеспечивало надлежащий контроль за состоянием музейных памятников. Задача эта усложнялась, однако, условиями размещения имущества».

Ящики по-прежнему стояли в страшной тесноте, ящик на ящике, длинными, уходящими под потолок штабелями, отделенными друг от друга узкими проходами. Правила музейного хранения требовали систематической проверки состояния вещей, выборочных контрольных вскрытий, а к ящикам по-прежнему не подойти, не подступиться. Хозяева города не спорили с профессором Левинсоном-Лессингом, соглашались с товарищем Смирновой<sup>1</sup>, секретарем партийной организации филиала: Эрмитажу, разумеется, необходимо еще одно помещение, но где, где его взять? Сызнова назывались ветхое складское строение на краю города, бездействующая церквушка на кладбище. Как-то осенью эрмитажники, уже освоившиеся в Свердловске, присмотрели подходящее здание невдалеке от Картинной галереи, занятое магазинами и конторами, и в жилищных инстанциях одобрили план их переселения, разработанный ленинградскими искусствоведами. Но, прежде чем подписать соответствующее постановление, товарищ, ведавший в городе нежилым фондом, пришел в Картинную галерею, чтобы лично осмотреть оказавшийся в Сверд-

<sup>1</sup> Дарья Ивановна Смирнова — старший реставратор по металлу.

ловске знаменитый Эрмитаж. И тут решающую роль сыграл чисто психологический фактор: жилищный начальник увидел не картины великих живописцев, не статуи великих скульпторов, а ящики, самые обыкновенные ящики. Здание, облюбованное эрмитажниками, он признал чересчур хорошим для склада. Речь снова пошла о ветхом строении в окраинном тупике и о кладбищенской церкви.

Все осталось по-старому. Ящики продолжали стоять, как они были расставлены в начале осени. На каждом ящике шифры отделов Эрмитажа и броские надписи на бортах: «Верх», «Низ»,— но всегда ли с этими надписями считались грузчики, внося и вынося вещи из вагонов? Ни у кого не могло быть уверенности, что в ящиках ничто не перебито при погрузках и разгрузках; никто не мог сказать, как перенесли Рубенсы и Тицианы жаркую духоту бронированного вагона, раскаленного июльским солнцем; никому не было известно, как отразились на музейных вещах колебания температуры и влажности в осенние месяцы. Одна надежда, что толстые доски, стружка, вата, фанера и клеенка добротной упаковки оберегли вещи от механических повреждений в дороге и предохранят их здесь, в зданиях филиала, от вредных температурных и атмосферных воздействий.

«Хранение предметов в упакованном состоянии,— писал В. Ф. Левинсон-Лессинг в статье «В глубоком тылу»,— представляло несомненные преимущества, так как сама упаковка оказывала некоторое предохраняющее действие, смягчая колебания температурного режима и защищая памятники от непосредственного атмосферного воздействия. Но в то же время упаковка не давала возможности держать музейные памятники под постоянным наблюдением, как это имеет место в обычных условиях музея, и могла препятствовать поэтому в отдельных случаях своевременному проведению срочных профилактических мероприятий».

Рассредоточить ящики, расставить их так, чтобы к каждому открылся свободный доступ, оказалось невозможным, но нельзя было долее откладывать и контрольные вскрытия. С конца года принялись вскрывать то один ящик, то другой, и всякий раз тому предшествовали длительные и сложные маневры среди ящичных штабелей. В Ленинграде, когда Эрмитаж эвакуировался, тяжести переносили здоровые и сильные парни в матросских робах; теперь, на Урале, не было таких славных

помощников, приходилось рассчитывать только на себя, на свои руки, на свои плечи. Все делали сами музейные хранители, ученые и реставраторы, небольшая группа женщин и еще меньшая группа далеко не молодых мужчин.

«Силенок у нас было мало, но быстро выработались навыки и ловкость,— рассказывает старший научный сотрудник Зинаида Владимировна Зарецкая, в годы войны ученый секретарь Свердловского филиала.— Любое контрольное вскрытие требовало перестановки тяжелых ящиков, и мы стаскивали их сверху, чтобы добраться до стоящих ниже, растаскивали в стороны, волокли обратно и опять с натугой, всей артелью, поднимали на самое верхотурье».

Первым делом были вскрыты несколько ящиков в Особой кладовой. Полотна Рембрандта невредимы, ничего в пути не приключилось ни с Леонардо, ни с Рафаэлем. По одному, по два ящика вскрыли и в других залах Картинной галереи. «Общее состояние всех проверенных памятников удовлетворительное,— сообщил В. Ф. Левинсон-Лессинг в Ленинград о результатах первых контрольных вскрытий.— В частности, следует отметить удовлетворительное состояние картин Рембрандта... Не было ни одного случая повреждения памятников — как при перевозке, так и в новых условиях хранения. На некоторых раскопчных бронзах (из собрания отдела истории первобытной культуры) и медных монетах обнаружены выцветы солей — явление, неоднократно наблюдавшееся на ряде аналогичных предметов в условиях их обычного хранения... Раскопчная бронза (с выцветами) подвергнута чистке, налет удален, в отдельных случаях предметы подвергнуты кипячению, памятники взяты под специальное наблюдение».

Грянули морозы. В неотопляемое здание костела зимние холода проникли беспрепятственно, но и в залах Антирелигиозного музея печи не могли оказать морозам серьезного сопротивления — запасы дров кончились. Только в Картинной галерее, где было центральное отопление, удавалось удерживать ртутные столбики психрометров на уровне, допустимом для большинства категорий музейных вещей. Достигнуть этого было тоже нелегко. Угольная проблема для филиала становилась из месяца в месяц все более острой и, экономя дефицитный уголь, пришлось даже пойти на снижение температуры в залах Картинной галереи до  $+7^{\circ}$ ,  $+8^{\circ}$ . Ле-

винсон-Лессинг указывал в одном из своих писем в Ленинград:

«По-прежнему продолжают неурядицы с топливом. Приходится делать непрерывные усилия, чтобы не быть вынужденными остановить котлы. Этого мы, конечно, не допустим, но приходится перебиваться буквально изо дня в день, подвозя топливо каждые 2—3 дня малыми партиями».

С хлопот об угле начинался рабочий день профессора Левинсона-Лессинга. А историк византийского искусства Алиса Владимировна Банк, возложившая на себя обязанности машинистки филиала, каждое утро пристраивалась на лестничной площадке за одним из ящиков с личными книгами Пушкина и прилежно перепечатывала на расхлябанной машинке очередные патетические воззвания в гортоп.

В последнюю минуту всегда приходил грузовик с углем. Все было опять в порядке — на два-три дня. Ртутный столбик во всех залах главного хранилища никогда не падал ниже  $+7^{\circ}$ . Процент относительной влажности оставался в пределах допустимых норм.

«24.00,— записал в журнале дежурный по Картинной галерее в ночь на 1 января 1942 года.— Обход помещений. Все в порядке».

## 10

Январь не проявил милосердия к Ленинграду. Осажденный город сковали тридцатиградусные морозы. Лед и снег навалились на дома, подмяли их под себя, завладели улицами и площадями, а пустынные набережные слились в одно арктическое поле с покрытой ледяными торосами Невой. Забитыми фанерой пустыми глазницами дворцовых окон глядели — и не видели Неву — израненные снарядами громады эрмитажных зданий.

Морозы свирепствовали, но лед на Ладоге окреп: движение по ледовой дороге налажилось, и в конце января Ленинградское радио объявило об увеличении норм выдачи хлеба населению.

Рано утром 24 января в вестибюле служебного подъезда Эрмитажа появилось объявление:

*«Сегодня, в 12 час., в Школьном кабинете состоится митинг.*

Партбюро».

За минувший месяц это был уже второй митинг, посвященный прибавкам хлебного пайка. Вскоре после освобождения Тихвина завоз продовольствия в Ленинград стал понемногу возрастать, но до Нового года город и фронт продолжали питаться «с колес», жили сегодня тем, что вчера удавалось перевезти с восточного берега Ладоги. Малейшая заминка в доставке продовольствия грозила катастрофой, но все же Военный совет Ленинградского фронта решил с 25 декабря, не ожидая, пока нормализуется движение по ледовой трассе, увеличить хлебный паек ленинградцам: рабочим на сто граммов, служащим, иждивенцам и детям — на семьдесят пять. Рабочие стали получать триста пятьдесят граммов, остальное население — двести.

«В этой небольшой прибавке люди почувствовали шаткость вражеской блокады,— пишет уполномоченный ГКО Д. В. Павлов в книге «Ленинград в блокаде». — То была первая серьезная победа защитников Ленинграда. Новая норма далеко не восполняла затрат человека и по-прежнему не удовлетворяла потребности истощенных людей. Население продолжало голодать, но каждый рабочий, каждый житель и боец крепко верили в то, что за первой прибавкой скоро последует вторая».

Действительно, через месяц, когда шесть хорошо расчищенных и укатанных путей уже тянулись с одного берега Ладоги на другой, хлебный паек был вторично повышен: до четырехсот граммов — рабочим, до трехсот граммов — служащим, до двухсот пятидесяти граммов — иждивенцам и детям<sup>1</sup>. Победоносные граммы пайкового хлеба — каждая новая прибавка ста или пятидесяти граммов — означали новую победу защитников города Ленина. Об этом и говорили 24 января на митинге в Школьном кабинете Эрмитажа.

Но голодная смерть, начавшая косить ленинградцев в ноябре, не хотела сдаваться. Холод и голод настолько обессилили людей, так истощили их организм, что еще несколько месяцев смертность в заблокированном Ленинграде не сокращалась, а увеличивалась. «В ноябре дистрофия и холод,— пишет Д. В. Павлов,— угнали в могилу 11 085 человек... В декабре от дистрофии умер 52 881 человек... В январе и феврале смертность достиг-

---

<sup>1</sup> С 11 февраля, после третьей прибавки, рабочие и ИТР стали получать 500 граммов хлеба, служащие — 400, дети и иждивенцы — 300 граммов.

ла своего апотея — за эти 60 дней умерло 199 187 человек. Смерть... вырывала из рядов осажденных товарищей по борьбе, друзей и родных».

Смерть уносила и многих работников Эрмитажа. До последнего дня своей жизни они забивали фанерой окна, расстекленные очередным артиллерийским обстрелом, убирали снег, успевший лечь на узорчатые паркетные эрмитажных залов, перетаскивали в заплечных мешках музейные вещи из Соляного переулка; до последней своей ночи при неверном свете воскового огарка они без усталости скребли пером по листкам бумаги, всегда такой восприимчивой к сигналам неутомимого мозга. Они умирали и днем и ночью — и в ноябре, и в декабре, и в январе...

«Был в городе, в Эрмитаже, — записывает 8 января в дневник В. В. Калинин. — Грустно там сейчас. Все очень исхудало, лица бледные, под глазами мешки. Сидят на своих рабочих местах — в холоде, при слабом свечном освещении.

В бомбоубежище умерли экскурсоводы Рейхардты — Сергей Александрович и его жена Ксения Петровна. Сергей Александрович скончался 6 января среди своих любимых книг, попросив перед смертью, чтоб ему дали какую-то редкую книгу, которую он стал нежно гладить рукой. Ксения Петровна умерла сегодня.

Зашел к Иосифу Абгаровичу Орбели в его тесный кабинет в сводчатом подвальном помещении. Пахнет сыростью, горят церковные свечи. Сегодня он был чем-то особенно озабочен, нервничал».

Директору Эрмитажа этим утром снова принесли два горьких письма — одно на бланке Союза архитекторов, другое — из Музея этнографии, два официальных письма, две одинаковые просьбы:

«Просим Государственный Эрмитаж изготовить гроб...»

С декабря покойников в Ленинграде хоронили уже без гробов. Два-три близких человека, завернув тело в простыню, тянули саночки через весь город и нередко, выбившись из сил, но так и не добравшись до кладбища, оставляли труп где-то на полпути, среди снежных сугробов. В Эрмитаже еще оставались с эвакуационных времен обрезки досок, из которых столяр-краснодеревец сколачивал гробы для умерших в бомбоубежище сотрудников музея и членов их семей. Зная об этом, руководители научных учреждений и творческих организаций иной

раз обращались в Эрмитаж с просьбой помочь им похоронить своего товарища — ученого, художника, архитектора. Поперек каждого такого письма академик Орбели делал надпись красным директорским карандашом: «Изготовить гроб», «Сделать», «Разрешаю». Но в январе доски кончились, столяр умер, и сегодня директор Эрмитажа впервые вынужден был ответить отказом. «Нет физической возможности», — написал он поперек письма из Союза архитекторов.

Гробов в Эрмитаже уже не делали и для своих сотрудников. Друзья и товарищи умирали, а у оставшихся в живых не было сил отвезти их на кладбище, вырвать могилу в окаменевшей от морозов земле, совершить последний прощальный обряд. Мертвых переносили во Владимирский коридор под эрмитажной библиотекой, именовавшийся сейчас моргом, а бывало, что мертвецы подолгу продолжали покоиться там, где их настигла смерть.

В дневнике В. В. Калинина приводится рассказ Софьи Александровны Пиотровской (матери Б. Б. Пиотровского), блокадной зимой начавшей работать хранителем библиотеки Эрмитажа и решившей однажды обойти бомбоубежища:

«Мне нужно было принести из бомбоубежища книги, взятые жившими там сотрудниками Эрмитажа. Боря говорит мне: «Не ходи, мама, не расстраивайся. Там покойники». А я пошла. Спустилась вниз. Под сводами бомбоубежища полумрак, сырость, запах тления... Иду и вижу, повсюду лежат люди — кто в гробу, кто прямо на полу, зашитый в простыню. Я не смогла взять книги, за которыми пришла. Казалось, все они пропитаны смертью, тленом, — так и ушла. Стало мне страшно в этих коридорах, будто души умерших витали здесь».

Люди умирали, и в кабинет директора Эрмитажа приходил доктор Сильченко. Он приходил сюда так же часто, как и в прежние, довоенные времена. Организатор первых рентгенокабинетов в России, старый доктор Тихон Николаевич Сильченко в тридцатых годах возглавил рентгенокабинет Эрмитажа, став пионером использования рентгеновских лучей в музейном деле. В блокадную зиму от врачевания картин он снова вернулся к врачеванию людей, но чем он, врач эрмитажного бомбоубежища, мог им помочь? «Алиментарная дистрофия», — ставил он диагноз, и через короткое время подписывал акт о смерти. Мало выдавалось дней, когда доктор

Сильченко не передавал бы таких актов директору Эрмитажа<sup>1</sup>.

Все более слабели люди, удлинялся скорбный мартиролог, но Дорога жизни уже существовала, уже действовала ледовая трасса. 24 января, в день, когда ленинградцам было объявлено о втором увеличении хлебного пайка, в Эрмитаже было получено сообщение из Смольного: городские организации приняли решение создать при музее лечебный пункт для дистрофиков — стационар. Стационарный пункт предназначался не только для сотрудников Эрмитажа, но и для работников четырех других музеев — Музея В. И. Ленина, Музея Революции, Русского музея и Музея этнографии. Вся работа по подготовке к открытию стационара и по его обслуживанию доверялась научным и техническим сотрудникам Эрмитажа.

Рядом с извещением о новых хлебных нормах на доске объявлений был вывешен приказ академика Орбели о том, что необходимо сделать для переоборудования служебного помещения под Павильонным залом в лечебный стационар. Приказ этот заканчивался следующими словами:

*«Обращаю внимание всех работников Эрмитажа на то обстоятельство, что скорейшее и возможно лучшее выполнение указаний вышестоящих органов об организации стационара, направленных к сохранению здоровья работников пяти музеев, является самой неотложной и священной обязанностью каждого работника, привлекаемого к участию в этой работе».*

Неделю спустя сто застланных коек стояли рядами в нижнем этаже Ламотова павильона. Заведование стационаром было возложено на ученого секретаря Эрмитажа А. В. Вильм, медсестрами стали научные сотрудники К. Ф. Асаевич, Н. М. Шарая, А. Я. Труханова. «Стационар при Государственном Эрмитаже на 100 (сто) коек готов к эксплуатации», — доложил 31 января академик Орбели заведующему райздравотделом, и тот написал на его рапорте: «Директору треста столовых. Стационар для дистрофиков функционирует. Прошу от-

---

<sup>1</sup> Несколько папок с лаконичной посмертной документацией поступило в архив Государственного Эрмитажа после зимы 1941/42 года. Одна папка озаглавлена кратко: «Гробы», все другие содержат акты о смерти.

пустить питание по нормам для дистрофиков на 100 (сто) человек»<sup>1</sup>.

Пребывание в стационаре, десятидневные лечебные курсы — «лежачие курсы», «курсы питания» — спасли жизнь многим музейным работникам, в том числе и многим сотрудникам Эрмитажа, но немало было людей настолько истощенных, что ни усиленное питание, ни внутривенные вливания глюкозы не могли их спасти.

В феврале опустели эрмитажные бомбоубежища. Света и тепла не стало там еще в прошлом году, а в январе замерзли трубы водопровода и канализации. Раньше под каменными сводами дворцовых подвалов измученные люди находили по крайней мере какое-то успокоение, они чувствовали себя в безопасности от бомб и снарядов; к снарядам и бомбам все в Ленинграде привыкли, а в подвалах теперь царили холод, мрак, запах тления, смрад. На койках и на полу у сырых стен лежали окоченевшие трупы, и действительно могло почудиться, что в сводчатых коридорах витают души умерших.

Бомбоубежища пустели постепенно. И наступил день, когда мертвые остались, а живые ушли.

Директор Эрмитажа перебрался из подвала в одну из маленьких боковых комнатшек над самым служебным подъездом. Сюда он и вызывал своих сотрудников для нелегких разговоров, которые ему приходилось вести и в феврале и в марте. Как только вошла в строй военно-автомобильная дорога по льду Ладожского озера, Государственный Комитет Оборона вынес решение об эвакуации из осажденного города полумиллиона жителей. Директору Эрмитажа предстояло убедить большую группу работников музея покинуть Ленинград. Он разъяснял каждому, что массовая эвакуация имеет важнейшее государственное значение, облегчит оборону города, а применительно к Эрмитажу — сохранит жизнь ценнейшим научным кадрам, тем более, что предполагаемый перевод музея на консервацию повлечет за собой, возможно, и сокращение штатов. Его выслушивали, а затем приходили снова и клали на стол листки заявлений. Одно заявление было похоже на другое.

«Из Ленинграда эвакуироваться не желаю, — читал Орбелн. — Люблю Ленинград, предан Эрмитажу. Прошу Вас при рассмотрении вопроса о моей дальнейшей рабо-

---

<sup>1</sup> Лечебный стационар при Эрмитаже существовал до 1 мая 1942 года

те учесть, что я готов работать на любом поприще физического или умственного труда в Эрмитаже».

«Из Ленинграда эвакуироваться не хочу. Приложу все усилия, чтобы восстановить прежние силы и посвятить их родному Эрмитажу».

«Оставить Ленинград не могу», «не хочу», «не желаю»,— читал он почти на каждом поданном ему листке.— «Люблю Эрмитаж и счастлива была бы в нем работать и приносить посильную помощь, в чем бы она ни выражалась».

Нелегкие то были разговоры...

Пришла комсомолка Шура Аносова, первая военная вдова в Эрмитаже,— Сергей Аносов первым из эрмитажников погиб в боях за Ленинград. «От старшего реставратора Аносовой А. М.,— прочел Орбели ее заявление.— Я решила из города никуда не выезжать. Если бы представилась возможность моего использования на работе в Эрмитаже, была бы счастлива».

Пришла Елена Георгиевна Нотгафт, знаток французского искусства. Орбели заранее знал, как ответят на его предложение и сама Елена Георгиевна, и ее муж, уже пораженный дистрофией Федор Федорович, которого он помнит в Эрмитаже с первых послереволюционных лет. В их заявлении он прочел: «... предполагаем жить и работать в Ленинграде, ибо с Ленинградом и Эрмитажем связана вся наша жизнь».

Невелик, совсем невелик оказался список людей, которые, вняв его доводам, согласились уехать из Ленинграда. Но что, по совести говоря, мог он возразить тем, кто отвечал категорическим отказом? Не он ли сам на протяжении всей блокадной зимы от раза к разу добивался в Смольном разрешения остаться в Ленинграде, не он ли сам подбирал аргументы повесомее, доказывая, что его директорские задачи по сохранению эрмитажного имущества еще не исчерпаны, не он ли сам запальчиво отвергал предположения, будто бы он болен, утверждал, что со здоровьем у него дела куда лучше, чем до войны. Даже теперь, когда с его аргументами в Смольном не желают больше считаться, он и то сумел получить новую отсрочку до окончания работ по консервации, но какого пламенного красноречия это ему стоило! А здесь, у себя, в Эрмитаже, ему не хватает слов...

На столе лежала груда заявлений, и он положил перед собой наметку штатного расписания на период консервации музея. Кто же останется с апреля на должно-

стях музейных хранителей, кто будет выполнять административно-хозяйственные обязанности, кто войдет в число работников охраны, кому быть подсобным рабочим? Орбели еще раз перебрал заявления и стал составлять докладную записку председателю горисполкома.

«В числе работников Эрмитажа, твердо решивших остаться в городе при исполнении своих обязанностей по Эрмитажу,— писал он,— я обязан особо выделить четырех профессоров, обладающих наибольшим научным и музейным стажем и принадлежащих к числу наиболее выдающихся специалистов в нашей области, притом не только в пределах Советского Союза.

Это профессор М. В. Доброклонский, наиболее крупный специалист в области истории западноевропейской графики; профессор А. Н. Кубе, старейший по стажу научный работник Эрмитажа и крупнейший в Союзе специалист по прикладному искусству Западной Европы эпохи Средневековья и Возрождения; профессор Э. К. Кверфельдт, обладающий сорокалетним стажем музейной работы и являющийся наиболее авторитетным, разносторонним и передовым специалистом по прикладному искусству Дальнего Востока, а также Передней Азии и Западной Европы, и старейший наш специалист по искусству Древнего Востока Н. Д. Флиттнер».

Он отметил в своей докладной записке, что все эти ученые «бодро и без уныния переносят трудности и не прерывают своей научной работы». А может быть, ему все же не следовало уступать Альфреду Николаевичу Кубе? Месяц назад, когда Альфред Николаевич заявил о своем твердом намерении остаться в Ленинграде, надо было также твердо заставить его сесть в автобус, уходящий на Большую землю. Кубе никогда ни на что не жаловался, никогда не говорил о еде. И даже лечь в стационар он почему-то стеснялся,— авось сейчас отлежится в стационаре, окрепнет...

Профессора Кубе привели в стационар 1 марта, и врач установил: последняя стадия дистрофии. Его лечили, но ничто не помогло. В ночь на 10 марта, через три дня после того, как в горисполком была отправлена докладная записка директора Эрмитажа, Альфред Николаевич Кубе скончался на больничной койке под Павильонным залом. В акте о его смерти сказано:

*«При скончавшемся проф. Кубе А. Н. обнаружено: служебный пропуск Эрмитажа, билет читателя Публичной библиотеки».*

Бригада по захоронению прибыла в Эрмитаж спустя месяц после смерти Кубе. На грузовик, остановившийся в эрмитажном дворе возле морга, переложили сорок шесть обледенелых тел и отвезли на пустырь городской окраины у станции Пискаревка. Там всю зиму копали в мерзлой земле глубокие траншеи и туда со всех концов города грузовики свозили занесенные снегом тела мужчин, женщин, детей — погибших защитников Ленинграда.

Братские могилы на бывшей городской окраине стали мемориальным кладбищем. Боль понесенных Ленинградом утрат окаменела в граните и мраморе величественного некрополя. «Здесь лежат ленинградцы» — высечено на гранитной плите.

ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ ЛЕНИНГРАДЦЫ.  
ЗДЕСЬ ГОРОЖАНЕ — МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ, ДЕТИ.  
РЯДОМ С НИМИ СОЛДАТЫ-КРАСНОАРМЕЙЦЫ.  
ВСЕЮ ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ  
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ТЕБЯ, ЛЕНИНГРАД,  
КОЛЫБЕЛЬ РЕВОЛЮЦИИ.

Под каменными плитами безымянных могил мемориального Пискаревского кладбища, где горит Вечный огонь в память героев, покоится и прах многих сотрудников Эрмитажа — молодых аспирантов и старушек — смотрительниц залов, подсобных рабочих и ученых с мировым именем.

На граните высечено:

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.



Первые три месяца 1942 года прошли в Ленинграде без воздушных бомбардировок, но артиллерийский обстрел продолжался. Он несколько утих в январе, — генерал Кюхлер, назначенный командующим группой «Норд» вместо смещенного фельдмаршала фон Леоба, направил все свои усилия на срыв снабжения Ленинграда через Ладожское озеро. В январе по городу было выпущено 2696 снарядов, — вдвое меньше, чем в декабре. Убедившись, однако, что голодом Ленинград ему не задушить, Кюхлер вернулся к прежней тактике систематического разрушения осажденного города артиллерийским огнем. На протяжении февраля в Ленинграде разорвалось 4771 снаряд, в марте — 7380. Ответные залпы советской дальнобойной артиллерии — сухопут-

ной и морской, бомбовые удары советской авиации заставляли противника на какое-то время прекращать огонь, но после двух-трех дней полного или относительного затишья в городе снова рвались по 200—300 выпущенных сразу снарядов.

Вражеские снаряды терзали эрмитажные здания и в январе, и в феврале, и в марте. Аварийно-восстановительная команда чинила поврежденные чердачные перекрытия, латала дыры на крышах, забивала фанерой расстекленные окна.

Большой ущерб был нанесен эрмитажным зданиям 18 марта — шесть снарядов разорвались на территории Зимнего дворца. Крупнокалиберный снаряд угодил в одну из дворцовых стен, выходящих на Кухонный двор. Снаряд этот ударил в притолоку окна и разрушил часть стены пустого теперь хранилища фондов отдела истории первобытной культуры. Вокруг от взрывной волны разлетелись вдребезги три тысячи оконных стекол<sup>1</sup>. Без стекол остались и огромные окна, освещающие со стороны двора второй и третий марши Главной лестницы Зимнего дворца.

Широкая мраморная лестница, называвшаяся в XVIII веке Посольской, потому что по ней иностранные послы поднимались в парадные залы императорского дворца, получила название Главной лестницы с тех пор, как советские люди стали подниматься по ее ступеням в залы Государственного Эрмитажа. Тремя маршами простирается она во всю дворцовую высоту, поражая своей величавой архитектурой, пышной декорровкой и

---

<sup>1</sup> 19 марта 1942 года дирекция Эрмитажа направила ленинградскому уполномоченному Комитета по делам искусств при СНК СССР Б. И. Загурскому следующее служебное донесение: «Государственный Эрмитаж сообщает, что 18 марта с. г. во время артиллерийского обстрела в здания Эрмитажа попало шесть снарядов и четыре снаряда в непосредственной близости.

Характер и размер повреждений:

5 снарядов попало в крыши, пробило их и разорвалось на чердаке, причем пострадало 400 кв. м кровли (не считая отдельных пробоин) и частично повреждены стропила железные в районе падения снарядов, а также и чердачные перекрытия..

Один снаряд попал в притолоку окна 3-го этажа в б. Кухонном дворе, вследствие чего разрушена часть стены и пострадало значительно музейное оборудование в районе разрыва снаряда

От попавших в здание Зимнего дворца и упавших в ближайшем районе от него снарядов разбито до 3000 стекол и нанесено большое количество повреждений мелочного характера кладке и штукатурке фасадов и внутренних помещений Зимнего дворца.

художественным эффектом, который производит неожиданный переход из строгой и темноватой галереи нижнего этажа на полную воздуха и света лестницу, мощными крыльями расходящуюся вправо и влево и снова сходящуюся на верхней площадке,— все пространство здесь пронизано светом, который щедро льется сквозь расположенные в два яруса высокие окна. Из этих огромных окон 18 марта разом вылетели все стекла и с грохотом и звоном посыпались на белые ступени. Мокрый снег, гонимый мартовским ветром, закружил среди облицованных мрамором стен, среди гранитных колонн, среди статуй муз и богов, под высоким голубым небом живописного плафона, изображающего озаренный солнцем Олимп.

Наверху парили античные боги. Внизу растерянные люди ступали по осколкам оконного стекла.

Битое стекло еще хрустело под ногами, когда 30 марта академик Орбели поднимался по Главной лестнице, совершая последний директорский обход перед отъездом из Ленинграда. Сосредоточиться ему было трудно. Дела, которые заполняли его жизнь с первого дня войны, сегодня обрываются — их будут доделывать без него. С каждым, кто остается в Эрмитаже, он уже поговорил, все обсуждено, составлен подробный перечень работ, которые необходимо осуществить в процессе консервации музея. Проходя сейчас через залы, он заставлял себя, свое зрение, свою память не фиксировать то, что требовало от него какого-то действия, вмешательства, решения — теперь это ни к чему, завтра он уезжает...

Вместе с академиком Орбели, направлявшимся в Ереван, где ему вскоре предстояло стать первым президентом Армянской Академии наук, уезжал и профессор Пиотровский, будущий член-корреспондент этой вновь создаваемой академии. Их путь лежал через Ладогу. Автобус должен был заехать за ними и еще несколькими сотрудниками Эрмитажа утром 31 марта.

В ожидании автобуса Орбели прошелся по набережной, оглядел исчербленные осколками фасады Старого Эрмитажа, Ламотова павильона, обогнул Зимний двор, выйдя на Дворцовую площадь, дошел до подъезда Нового Эрмитажа.

Боже, боже, как давно это было... Он приехал в Петербург поступать в университет и, еще не заходя в университетскую канцелярию, помчался в Эрмитаж, сюда, к подъезду с гранитными атлантами. Ему было тогда

семнадцать — на днях минуло пятьдесят пять... И четверть века в Эрмитаже... «С 1919 года член Ученого совета, с 1920 года хранитель и заведующий отделением мусульманского Востока», — так, вероятно, напишут в некрологе.

Он побрел по снежным завалам вдоль Зимней канавки. Против служебного подъезда стояла «Полярная звезда». Черный провод тянулся от «Полярной звезды» к Эрмитажу. Зачехленный шпиль Петропавловской крепости чернел в поголубевшем небе — близится весна.

Через полчаса от служебного подъезда Эрмитажа отошел автобус на Ладогу.

## 11

«Тот, кто видел Ленинград в январе и феврале, не узнал бы сейчас города. Сугробы лежали тогда на улицах, ледяные наросты спускались с крыш, под наледями исчезли тротуары, грязь накопилась холмами, мусор завалил дворы, обломки рухнувших стен валялись на улице. Кирпичи, вмерзшие в снег, разбитые бочки, свернувшиеся оборванные провода, выбитые оконные рамы, груды битого стекла, — вот что встречал взгляд повсюду.

А теперь, — писал Николай Тихонов в мае 1942 года, — вы идете по чистым широким улицам, по великолепным набережным, точно подметенным гигантской метлой. Это далось не легко. Триста тысяч ленинградцев ежедневно, день за днем, трудились над очисткой города. К подвигам труда, совершенным ленинградцами, прибавился еще один, какого не видел мир. Знаменитые авгиевы конюшни — детский сон перед этими громадными работами, что были сделаны руками истомленных страшной зимой людей».

За ломы, лопаты и метлы взялись той весной и истомленные голодной блокадой работники Эрмитажа. Им было это не внове: в зимние месяцы они постоянно очищали от снега проезжую часть Дворцовой набережной — фронтную дорогу, как и многие другие уличные магистрали города. Сейчас, весной, им предстояло очистить от снега и льда, от грязи и мусора всю огромную территорию, окружавшую эрмитажные здания, все захламленные дворы, чердаки, подвалы, канализационные трубы, каждый забитый нечистотами уголок, который под лучами весеннего солнца мог стать очагом инфек-

ционных заболеваний. В «Дневнике совещаний Ученого секретариата» появляется новая рубрика «О ходе выполнения работ по очистке территории Эрмитажа».

Совещания Ученого секретариата проходили в директорском кабинете. За столом Орбели сидел теперь профессор Доброклонский, назначенный на период консервации музея Главным хранителем Эрмитажа, начальником объекта.

Новый начальник объекта принадлежал к той эрмитажной гвардии, научная и музейная деятельность которой началась в первые же годы после Октябрьской революции. В молодости Михаил Васильевич Доброклонский собирался стать законоведом, но, еще изучая Римское право, толкуя статьи «Русской правды» Ярослава Мудрого и Кодекса Наполеона, он почувствовал, что истинное его жизненное призвание не юриспруденция, а история искусства; молодой законовед увлекся рисунками старых мастеров. В феврале 1919 года он поступил на работу в Эрмитаж.

Спустя четыре десятилетия на страницах юбилейного издания, посвященного 40-летию научной и музейной деятельности члена-корреспондента Академии наук СССР М. В. Доброклонского, его старый товарищ по Эрмитажу В. Ф. Левинсон-Лессинг писал:

«Годы, когда Михаил Васильевич начал работать в Эрмитаже, были годами бурного роста эрмитажных собраний, в частности и коллекции рисунков. Следует напомнить, что отделение рисунков, в некоторых отношениях, занимало особое положение: не было, пожалуй, ни одного подразделения дореволюционного Эрмитажа, которое находилось бы в таком запущенном состоянии, в смысле систематизации и изучения материала, резко отличаясь в этом отношении от Картинной галереи... Поэтому задача нового состава отделения заключалась прежде всего в критическом пересмотре и систематизации основного собрания, наряду с его пополнением за счет новых поступлений. На долю Михаила Васильевича выпала счастливая судьба, он не только участвовал в этой работе с самого начала, но и вел ее в тесном общении с такими знатоками рисунка, как А. Н. Бенуа и С. П. Яремич. Вспоминается, как в помещении отдела античного мира, где тогда помещалось собрание рисунков, собирались за большим столом сотрудники — Г. С. Верейский был неизменным участником этих встреч — и совместно просматривали папки и альбомы

с рисунками и гравюрами. Сколько было при этом живого и интересного обмена мнениями! Эти счастливые обстоятельства, при которых началась работа Михаила Васильевича, были полностью им использованы, и он вскоре же выдвинулся в качестве основного и наиболее активного работника отделения».

Доброклонский давным-давно завоевал себе среди советских искусствоведов репутацию лучшего знатока рисунка старых мастеров, его авторитет в этой области был не менее высок и в кругах зарубежных специалистов, но в административных и хозяйственных делах маститый ученый чувствовал себя беспомощно. Орбели оставил ему полную доверенность на управление Эрмитажем; в официальной бумаге значилось: «Выдана директором Государственного Эрмитажа академиком Орбели Иосифом Абгаровичем — начальнику объекта Государственного Эрмитажа тов. Доброклонскому Михаилу Васильевичу в том, что ему на время моего отсутствия доверяется совершать, в порядке управления вверенным ему Эрмитажем, все разрешенные законом сделки и операции»; но всякий раз, когда из бухгалтерии приносили ему на подпись финансовые документы, он терялся и испытывал мучительную неловкость. Он был бессилен во время самых яростных бомбежек и артобстрелов, но на совещаниях Ученого секретариата, когда речь заходила о фанере или гвоздях, фановых трубах или канализационных колодцах, он с робкой надеждой поднимал испуганные глаза на главного инженера Фирсова.

Главный хранитель работал в Эрмитаже двадцать четвертый год, главный инженер — второй месяц. Но Петр Петрович Фирсов был старым и опытным инженером, и некоторые стороны эрмитажного хозяйства были известны ему уже много лет — со времен памятного наводнения 1924 года. Невские воды, выйдя тогда из гранитных берегов, поднялись так высоко, что скрыли под собой парапеты набережной, и две баржи, покачиваясь на волнах, приплыли по воле разбушевавшейся стихии к гранитным атлантам эрмитажного подъезда; когда вода спала, обе баржи остались просыхать на торцовой мостовой между Дворцовой площадью и Зимней канавкой. Вода, затопившая подвалы Эрмитажа, нанесла серьезные повреждения тянувшимся по ним магистралям отопительной системы, и П. П. Фирсов, как видный инженер-теплотехник, был направлен в Эрмитаж для

ликвидации аварии. С эрмитажными подвалами он возобновил знакомство в блокадную зиму 1941/42 года при случайных обстоятельствах. На Дворцовой набережной, по которой он однажды проходил, его застиг сильный артиллерийский обстрел, а на воротах музея он увидел табличку со стрелкой — «Бомбоубежище для проходящих». В подвале он попался на глаза главному архитектору Эрмитажа, и тот предложил ему занять должность главного инженера, которую за несколько дней до того голод сделал вакантной. С февраля и до конца блокады новый главный инженер был не только единственным в музее инженером, но и единственным водопроводчиком, единственным кровельщиком, единственным умелым плотником, и, кроме того, чем-то вроде старшего дворника всех территорий Эрмитажа и Зимнего дворца.

К весне мужчин в Эрмитаже почти не оставалось, десяти не наберешь, считая и профессора Эрнеста Конрадовича Кверфельдта, которому в 1942 году исполнилось 65 лет, и ученого реставратора Федора Антоновича Каликина, отметившего свое шестидесятипятiletие еще в прошлом году. Самым молодым был Павел Филиппович Губчевский, страдавший тяжелым сердечным недугом, из-за которого его не брали в армию.

Много дел переделал в Эрмитаже с начала войны научный сотрудник Губчевский, экскурсовод, лектор, популяризатор. Он упаковывал вещи, стоял диспетчером на подъездах, когда ящики вывозили из музея, дежурил вышковым наблюдателем на крышах, укрывал неэвакуированные коллекции в хранилищах нижних этажей, и в марте, когда Эрмитажу предложили выделить инициативного работника для особого задания, партбюро тотчас же назвало имя Губчевского. Эрмитажный экскурсовод успешно перевез по льду Ладожского озера большую группу учащихся ремесленных училищ; в Ленинград он возвратился за несколько дней до отъезда Орбели и сразу же был вызван в кабинет директора. — Охрана музея, — повел Орбели неожиданный разговор, — становится сейчас самой важной, самой сложной и необычайно трудной задачей. — Инструктивная беседа с вновь назначенным начальником охраны длилась ночь напролет.

Состояние дел по охране Эрмитажа, когда Губчевский приступил к исполнению своих новых обязанностей, характеризует один из архивных документов 1942 года:

«Охрана — 64 человека по штату, налицо — 46, тогда как в довоенное время количество работников охраны достигало 650 человек. Охраняются постами наружной, внутренней (как ночной, так и дневной) охраны Эрмитажа — около 1 000 000 куб. метров, протяженность экспозиционной территории — 15 километров и количество залов в одном Дворце искусств<sup>1</sup> — 1057. Охрана внутренних помещений Эрмитажа в настоящий момент осложняется тем, что в результате разрушений, причиненных артобстрелом, ряд помещений сделался доступным для проникновения...»

Более подробно о том же рассказывает сам начальник охраны П. Ф. Губчевский:

«Мое могучее воинство состояло в основном из пожилых женщин от 55 лет и выше, включая и семидесятилетних. Среди этих женщин было немало инвалидов, которые до войны служили в музее смотрительницами зал (хромота или какое-либо другое увечье не мешали им дежурить на спокойных постах или наблюдать в залах за порядком). К весне 1942 года многие разъехались, многие умерли, а оставшиеся в живых продолжали нести службу по охране. В служебном табеле значилось примерно пятьдесят работников охраны, но обычно не менее трети всегда находилось в больницах: одни оттуда возвращались, других отвозили туда — на саночках, на волокушах. Таким образом, стража, которой я командовал, фактически никогда не превышала тридцати немощных старушек. Это и была вся моя гвардия!»

Тридцать старушек круглосуточно охраняли эрмитажные здания, подъезды, ворота, внутренние помещения. Резко сократилось и число других музейных работников (в сравнении с довоенным временем оно уменьшилось в пять раз). Те, кого еще окончательно не свалила дистрофия и кто по возрасту подлежал мобилизации на общегородские работы, в апреле 1942 года чистили набережную, дворы, чердаки. К внутриэрмитажным работам предстояло перейти после завершения очистки внешних территорий, но весна, бурно вступившая в свои права, потребовала немедленно начать авральные работы и на необъятных территориях внутри музейных зданий.

---

<sup>1</sup> Зимний дворец, став продолжением Эрмитажа, долгое время назывался Дворцом искусств.

Весна пришла, и прихотливые узоры, которыми мороз расписал стены и потолки эрмитажных залов, больше не искрились бриллиантовой россыпью, когда солнечный лучик, преломившись в уцелевшем стекле, падал на вчера еще покрытый инеем мрамор. Оттепель дохнула в стылые залы Эрмитажа не весенним теплом, а весенней сыростью. Миллиарды кристалликов серебристого инея потемнели, превратились в миллиарды капелек тусклой влаги, которые, соединяясь, все более тяжелели и грязными ручьями потекли по стенам.

Снег на крышах таял, талые воды устремлялись в каждое отверстие изрешеченной осколками и наспех залатанной кровли, а с чердаков мутная вода просачивалась в залы, покрывая потолки и плафоны безобразными черными пятнами протечек. Ведра, тазы, шайки, противни, расставленные на чердаках, помогали мало — все эти не очень емкие «емкости» быстро переполнялись, — не успеешь вылить воду, а они снова полны до краев. Чинили дырявую кровлю, на кровельное железо накладывали заплаты из мешковины и гудрона, — залатаешь в одном месте, а в другом, глядишь, уже новая протечка...

Совсем катастрофически обстояло дело в залах с большими просветами. Над ними не было ни чердаков, ни железной кровли. Осколки снарядов выбивали из просветов стекло за стеклом, и когда снег, скопившийся за зиму на фонарях, начал таять, весенняя капель дробно застучала по паркетам центральных залов Картинной галереи. Повсюду разлились лужи, вода смешалась с насыпанным в залах песком, превращая его в жидкое месиво.

Хранители взбирались на крышу, привязывали фанеру проволокой к металлическим переплетам фонарей, но ветер снова срывал ее с железного каркаса, и снова по залам разносилось настойчивое и мерное, как метроном: кап... кап... кап... Паркеты коробились, вздувались, крошились.

Сырость шла в весеннее наступление на Эрмитаж. Потемнела живопись на плафонах, и ленинградское небо было уже более голубым, чем то, что простиралось над Олимпом на плафоне Главной лестницы. Влага оседала на стенах, на зеркалах, на колоннах, и женщины, хранительницы Эрмитажа, до изнеможения выжимали над ведрами тяжелые тряпки. А отработав свой днев-

ной урок в Эрмитаже, шли отрабатывать смену по очистке дворов<sup>1</sup>.



Еще ранней весной, одновременно с назначением профессора Доброклонского начальником объекта, был утвержден хранительский состав на период консервации музея — 22 человека — «с возложением на каждого хранителя полной ответственности за целую группу хранилищ и с отобранием от них, как изъявивших желание остаться в Ленинграде, особых обязательств в отношении доверенного им хранения». Через короткое время список хранителей поредел: одних, как гласит беспристрастный документ, не стало в Эрмитаже «по причинам естественной убыли», а другие вынуждены были в апреле и в мае из-за той же дистрофии все-таки покинуть Ленинград. «Количество хранителей не соответствует объему работ,— сообщает М. В. Доброклонский в Комитет по делам искусств.— Поэтому приходится часто перебрасывать хранителей на аварийные работы в другие отделы».

Спешных противоаварийных действий потребовали весной многие подвальные кладовые. Начало положила авария в подвале под залом Афины, где был укрыт фарфор.

Жеманные маркизы и пастушки, изящные кавалеры и пастушки, чьи фарфоровые тела, закаленные в огне муфельных печей Дрездена и Севра, перенесли за двести лет не одно потрясение, спокойно пережили блокадную зиму в глубине своего темного подвала — по грудь в песке, рядом с вазами и канделябрами, рядом с сервизами, покоившимися тут же на песчаном ложе. Они только вздрагивали все одновременно, когда здание, их укрывавшее, временами сотрясало до основания, и затем снова замирали в своих изысканных позах. Изредка их навещали люди в стеганых телогрейках и валенках,

---

<sup>1</sup> В мае 1942 года Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся вынес решение об освобождении сотрудников Эрмитажа от внеэрмитажных трудовых обязанностей.

В этом решении говорилось:

«Ввиду большого объема работ по сохранению музейных ценностей и малочисленности состава трудоспособных работников — освободить работников Государственного Эрмитажа от привлечения к выполнению работ в порядке трудовой повинности».

хозяйки этого блокадного убежища неэвакуированного фарфора.

Незадачливые маркизы, злополучные пастушки! Весной в их надежном убежище внезапно лопнула водопроводная труба, вода хлынула в подвал, а они ведь не умели плавать! Блюдца и тарелки дольше других удерживались на плаву, а они, бедняжки, сразу завязли в мокром песке, сразу же захлебнулись. Постепенно к ним на дно опускались, наглотавшись воды и грязи, все новые вазочки из тех, что поменьше, нарядные чашки, кофейники, соусники,— какой водолаз и когда извлечет их из этих черных хлябей? Сквозь толщу поглотившей их воды они даже не увидели, как распахнулась дверь подвала, не услышали, как испуганно вскрикнула застывшая в дверях очень худая и очень бледная женщина.

«Я с ужасом увидела, что фарфор весь затоплен,— вспоминает старший научный сотрудник Ольга Эрнестовна Михайлова, в годы блокады хранитель отдела Запада и эрмитажный комсорг.— Со мной были несколько подруг — Александра Аносова, Тамара Фомичева... Сбегав за высокими резиновыми сапогами, мы спустились в темный подвал. Вода стояла по колено. От наших движений образовывались волны, которые еще выше поднимали уровень воды. Осторожно двигаясь, чтобы не наступить на хрупкий фарфор, мы стали наощупь вытаскивать из воды вещь за вещью. Кое-какая фарфоровая посуда плавала на поверхности. То там, то здесь торчали над водой горлышки крупных ваз, большинство же вещей, заполнившись песком и грязью, погрузилось на дно. И эти поиски во мраке, и это хождение по воде, и то, как мы, нагрузившись фарфором, поднимались по темной крутой лестнице, не видя ступенек, нащупывая их ногами, казалось нам впоследствии невероятным, каким-то головоломным акробатическим номером, и мы диву давались, что ничего не разбили.

Вызволив фарфор из подвала, мы принялись очищать его от грязи. Пусть спасенные вещи и не принадлежали к шедеврам эрмитажного собрания, но так или иначе перед нами были произведения искусства, и видеть их в столь плачевном состоянии нам, хранителям, было очень тяжело. Предметы, покрытые глазурью, отмывались легко. Но бисквиты, неглазурованный белый фарфор, пропитались водой и пожелтели. Часть предметов, ранее подвергавшихся реставрации, расклеилась. Многие

вещи утратили инвентарные номера, и это могло создать невообразимую путаницу в музейном учете; сотни отмокших бумажных ярлычков плавали в подвале, а номерные обозначения, выведенные на вещах водостойкой эмалевой краской, от продолжительного пребывания в воде набухли и отваливались кусками. Делать все приходилось одновременно — и чистить, и мыть, и восстанавливать номера. Сушили мы фарфор во дворе, на весеннем солнышке, подстелив мешковину или прямо на зазеленевшей травке».

Беду обрушила весна и на ту коллекционную и обстановочную мебель Эрмитажа, которая не была увезена и которую осенью перенесли в помещение бывшей дворцовой конюшни. Оттаяли обледеневшие за зиму стены, и влагу, перенасытившую воздух, конденсировало полированное дерево. Мебель «потела», с нее стекали ручейки, обивка покрылась плесенью.

«Мебель мы сперва пытались сушить в самом помещении конюшни, — рассказывает Александра Михайловна Аносова. — Сняли фанеру с окон, растворили настежь двери, и пошли у нас гулять сквозняки. Но это не помогало. Когда установились сухие солнечные дни, мы вытащили всю мягкую мебель во двор. Обивка на диванах, креслах, стульях не была видна под толстым пушистым слоем плесени, будто не бархатом и атласом были они обиты, а отвратительной зелено-желтой цигейкой. Солнце высушивало плесень, и тогда мы переносили вещь за вещь в Черный проезд, отделяющий Малый Эрмитаж (Ламотов павильон) от Зимнего дворца, и пускали в ход щетки и метелки. Весь день — пыль столбом, и резкий, едкий запах сернистого газа; к концу дня этот запах пропитывал нашу одежду, пыль набивалась в уши и ноздри, першило в горле, слезились глаза».

Солнце подолгу застаивалось теперь в небе и грело все сильнее. Посреди высоких дворцовых зданий — с побитыми карнизами, с отвалившейся штукатуркой, с рваными ранами в кирпичной кладке — стояла во дворах под открытым небом и медленно просыхала старинная мебель из драгоценных древесных пород — красного дерева, карельской березы, палисандра; екатерининские, павловские, александровские кресла и стулья взобрались даже на склоны песчаного холма в эрмитажном дворике, выходящем на Зимнюю канавку. И на том же холме, на том же теплом песочке, под тем же голубым не-

бом сидели, отбыв очередную вахту, старушки из музейной охраны, грели на солнце цинготные, в черных пятнах, опухшие ноги и прислушивались к далеким, а иногда и очень близким разрывам.

Весной возобновились воздушные бомбардировки Ленинграда. Не ослабевал и артиллерийский обстрел. С апреля по июнь было лишь 18 дней, когда вражеская артиллерия не вела огонь по городу. Обстрелу подвергался и район Зимнего дворца.

«После каждой бомбежки, каждого артобстрела мне и моим товарищам надлежало произвести обход зданий,— рассказывает П. Ф. Губчевский.— Делать это было необходимо: когда все гремит и грохочет, легко не доглядеть на нашей огромной территории даже серьезное происшествие. Однажды, обходя здание Нового Эрмитажа, я вошел в Двенадцатиколонный зал, где до войны помещался отдел нумизматики. Поглядел вокруг — над галереей, где мы упаковывали монеты и медали, зияет дыра от прямого попадания снаряда! По всему видно, что снаряд разорвался здесь не сегодня. Заактивировали мы его все же сегодняшним числом, благо и сегодня был артобстрел.

Мои теперешние маршруты были намного длиннее самых обстоятельных обзорных экскурсий, которые я водил до войны. Идешь по лабиринтам зал, галерей, лестниц, переходов, голова кружится — дает себя знать голодная зима, и думаешь — вот-вот упадешь, а найдут тебя через полгода, через год, где-то здесь, в отдаленном тупичке, в стороне от больших эрмитажных дорог.

Топография эрмитажных помещений очень сложная и очень запутанная. Ни я, ни кто-либо другой на моем месте, кому хорошо знакомы лишь экспозиционные залы и научные кабинеты, вряд ли смог бы разобраться в наших лабиринтах, если бы в Эрмитаже не существовало Анастасии Михайловны Лазаревой — моей неoceneимой помощницы в годы блокады».

В Эрмитаже всегда было много замечательных работников, вся жизнь которых протекала среди музейных сокровищ: начав свой путь экскурсоводами, аспирантами, младшими научными сотрудниками, они становились выдающимися учеными, профессорами, заведующими отделениями и отделами музея. Совсем девочкой

пришла в Эрмитаж и Анастасия Михайловна Лазарева, музей тоже стал для нее родным домом, но всю свою жизнь она имела дело не с произведениями искусств, не с великими памятниками художественной культуры, а с оберегающими их ключами. Она ведала ключевым хозяйством Эрмитажа, и без нее, без этой скромной и уже немолодой женщины, Эрмитаж нельзя было ни отпереть, ни запереть. Нельзя было отпереть ни Главного подъезда, ни служебного входа, нельзя было отворить двери экспозиционных залов и научных кабинетов, запасных картиохранилищ и реставрационных мастерских, музейных кладовых и складских помещений, чердаков и подвалов. Ни одна музейная витрина и ни один хранительский шкаф, ни одна большая дверь и ни одна крохотная дверка в музее, какие бы в них ни были врезаны замки, не могли быть открыты без ключа, одного единственного среди тысяч, и всеми этими тысячами ключей ведала главный ключарь Эрмитажа Анастасия Михайловна Лазарева.

Она знала каждый ключ. Подобно тому, как профессор Доброклонский, взглянув на неподписанный лист старого мастера, по характеру штриха, по движению карандаша, пера или кисти сразу определял анонимный рисунок, Анастасия Михайловна безошибочно атрибутировала любой ключ, с которого оборвалась деревянная или металлическая бирка,— узнавала его по бородке, по длине, по весу, по ушку, по только ей одной ведомым приметам. Она знала, какую дверь отмыкает какой из ее ключей, и знала она еще, как наикратчайшим путем добраться до самой далекой двери. Сложные и запутанные коммуникации дворцовой территории были ею за многие годы настолько изучены, что она могла даже ночью, в непроглядной тьме, не заблудившись, пройти насквозь весь Эрмитаж — по всем горизонталям и по всем вертикалям.

«Лазаревой был известен любой тупичок, любая каморка на антресолях,— говорит П. Ф. Губчевский,— и это практическое знание топографии Эрмитажа приобрело исключительное значение во фронтовых условиях, в которых осуществлялась охрана музейных зданий. Никто не представлял себе, когда она спит, и спит ли она вообще. Посты, на которых дежурили наши старушки, были донельзя малочисленны, и Лазарева днем и ночью обходила все этажи, заглядывала во все закоулки. Из Эрмитажа она никогда не отлучалась, разве только для

того, чтобы помочь еще одной старушке, у которой цинга приняла угрожающую форму, доплестись до больницы».

Два объемистых пакета из Москвы, из Комитета по делам искусств, прибыли в мае. Год назад они непременно содержали бы новые формы отчетности, сброшюрованные приказы, распоряжения, директивы, инструкции. В Эрмитаже вскрыли два пакета — витамины! Двадцать банок витамина С в сиропе из инверсированного сахара, пятьсот тубиков витамина С с глюкозой!

Витамины распределили между самыми истощенными, между больными цингой, между теми, у кого от авитаминоза пошли по телу черные пятна. И тогда же, в мае, стали у себя в Эрмитаже выращивать зеленые витамины — морковь, капусту, лук.

Огородничать той весной принялся весь Ленинград. В огороды были превращены сады, скверы, бульвары. Грядками покрылись и Марсово поле, и Летний сад, и газоны вокруг памятников, и пустыри между разбомбленными домами. А эрмитажники свой огород разбили высоко над землей, на втором этаже, в эрмитажном Висячем саду.

Он еще в пышном XVIII веке вызывал восхищение сановных гостей Зимнего дворца и заморских послов, этот Висячий сад, устроенный по прихоти Екатерины II поверх каменных сводов дворцовых конюшен. Застекленная дверь ведет в него из Павильонного зала, и от этой двери он тянется вдоль двух галерей — Петровской и Романовской, сам похожий на музейную галерею, только простершуюся под открытым небом: мраморные статуи белеют здесь среди деревьев, кустарников и цветников.

Сирень в последний раз отцвела в Висячем саду прошлым летом, розы отцвели осенью. Пришла новая весна, кусты сирени опять зазеленели, но расцвести им не пришлось. «Мы вырывали кусты сирени и жимолости вместе с корнями, чтобы увеличить площадь под наш огород, — вспоминает О. Э. Михайлова. — Все дни, пока мы копали и разбивали огородные грядки, выдернутые кусты стояли тут же, у стен, с кусками земли на корнях, медленно увядая. В эту блокадную весну мы видели много смертей. Тяжело умирала и эрмитажная сирень».

Грядки в Висячем саду поливали, пололи, подбирали с огородной земли осколки снарядов. Осколки сыпались на Висячий сад всякий раз, когда Зимний дворец становился мишенью фашистских артиллеристов. Ровно через неделю после Первомайского праздника, 8 мая, один из снарядов разорвался в Черном проезде, где чистили заплесневевшую мебель. Никого из хранителей в эту минуту там случайно не было, но на своем посту находился боец военизированной пожарной команды. Его убило наповал<sup>1</sup>.

Зимний дворец обстреливался и 8 мая, и 14 мая. Снаряды попадали в цоколь фасадной стороны здания со стороны Адмиралтейского проспекта, в дворцовую крышу над Салтыковской лестницей; они рвались у Главного подъезда на Дворцовой набережной и среди деревьев на Большом дворе Зимнего дворца. Снаряд ударил и в стену хранилища старинных карет в нижнем этаже Ламотова павильона — под Романовской галереей в Висячем саду. Стену Каретного сарая он не пробил, но основательно разворотил кирпичи.

Бывалые солдаты утверждают, что в воронку от одного снаряда второй никогда не попадет. Боевая летопись Эрмитажа опровергает это утверждение. В ту же стену Каретного сарая, в то же самое место, где месяц назад разворотило многорядный кирпич, 18 июня вновь попал 70-миллиметровый снаряд и разорвался уже внутри хранилища.

В Каретном сарае находились коллекции бывшего Конюшенного музея. Здесь стояли великолепные произведения именитейших каретных мастеров XVIII века, русских и иностранных, кареты Екатерины и Павла, парадные, дорожные, прогулочные, охотничьи, отделанные золоченой резьбой, покрытые художественной росписью по лаку, дворцовые кареты, паланкины, сани. Снаряд, разорвавшийся внутри Каретного сарая, разнес вдребезги семь карет и два паланкина; тяжелые увечья он при-

---

<sup>1</sup> В архиве Государственного Эрмитажа сохранилась копия донесения в штаб МПВО Дзержинского района:

«Сообщаем, что во время артиллерийского обстрела 8 мая в 17 час. один снаряд попал в Черный проезд и разорвался возле пешеходного тротуара в третьем арочном пролете, считая от входа в Библиотеку, образовав воронку диаметром около 2 метров, глубиной 0,55 метра... При разрыве снаряда пострадал один человек — боец ВПК Евгений Тодовский, который проходил в расстоянии 25 метров от места взрыва снаряда и получил осколком ранение в живот; смерть наступила мгновенно».

чинил и всем остальным предметам этой редкостной коллекции.

На золоченые обломки карет оседала бурая кирпичная пыль<sup>1</sup>.

Грохот рвущихся снарядов доносился и в маленькую комнату с окном на Зимнюю канавку, одну из служебных комнаток музея, в которой сейчас проживал старый ученый, среди эрмитажных ученых самый старый, всеми уважаемый и всеми любимый профессор Алексей Алексеевич Ильин, член-корреспондент Академии наук СССР. Он был наиболее авторитетным в Советской стране специалистом по вопросам нумизматики, крупнейшим в мире знатоком истории монетного дела и медальерного искусства в России. С 1920 года и до тех пор, пока он совсем не состарился, А. А. Ильин возглавлял отдел нумизматики Эрмитажа; впервые созданная в музее после Октябрьской революции постоянная выставка монет и медалей была делом его ума, его знаний, его рук.

В Эрмитаж перевезли Ильина в начале блокады. Полуразбитый параличом, он продолжал работать, и в Эрмитаже легче было заботиться о престарелом ученом. Друзья и ученики, чтобы проведать Алексея Алексеевича, часто заглядывали в маленькую комнату с окном на Зимнюю канавку.

В феврале перестал приходить Александр Николаевич Зограф, несколько лет назад сменивший Ильина в отделе нумизматики, и Ильин понял, что Зографа не стало, умер от дистрофии. В апреле умерла и Евгения Оттовна Прушевская, специалист по античным монетам, старший научный сотрудник и боец санитарной коман-

---

<sup>1</sup> Ущерб, нанесенный эрмитажной коллекции карет, зафиксирован в специальном акте, составленном А. М. Аносовой, которая в 1942 г. являлась хранителем отдела истории западноевропейского искусства и возглавляла унитарную команду МПВО:

«1. Разрушения отдельных предметов и частичное повреждение их от осколков и ударной волны:

А. У всех карет и других предметов (паланкинов), находящихся в хранилище, выбиты стекла.

Б. Частично испорчена резьба, исцарапана и повреждена лаковая роспись, испорчена обивка и отделка.

2. Полностью разрушены:

А. 2 кареты времени Елизаветы.

Б. 2 кареты времени Екатерины II.

В. 3 кареты времени Павла I.

Г. 2 паланкина XVIII века.

Принимая во внимание исключительную ценность вышеперечисленных предметов, стоимость ущерба установить невозможно».

ды МПВО. Не приходил больше и Семен Александрович Розанов, специалист по западноевропейским монетам,— от Ильина не скрыли, что он погиб во время бомбежки под развалинами дома.

Ильин никогда о смерти не думал: он жил и, следовательно, должен был работать. Его не раз уговаривали уехать из осажденного Ленинграда, но он отказывался: пусть уезжают те, кто помоложе, у кого впереди большая жизнь, а он уже стар, ему надо еще многое закончить. Потом он пожелал счастливого пути и скорейшего возвращения Иосифу Абгаровичу, другим своим сослуживцам, приходившим к нему прощаться. Но друзей в Эрмитаже оставалось еще много. Наведывались к Ильину в его эрмитажную комнатку и внеэрмитажные друзья.

В первых числах июня Алексея Алексеевича навещил его давнишний приятель профессор В. Г. Гаршин, старший ленинградский врач и коллекционер-нумизмат. Гаршина сопровождала поэтесса Вера Михайловна Инбер, москвичка по месту постоянной прописки и ленинградка по блокаде.

«Сегодня были с В. Гаршиным у Ильина,— вписала Вера Инбер в свой блокадный дневник 4 июня 1942 года.— ...Старику восемьдесят шесть лет, он наполовину парализован, поддерживает голову рукой. Но левый, непарализованный, профиль до сих пор прекрасен. Видимо, это был человек редкой красоты.

Профессор Ильин рассказал нам, что его перевели в эту комнату в самом начале блокады, что ему ежедневно доставляли вязанку дров из самых сокровенных запасов Эрмитажа. Что же касается света, то на письменном столе всегда горело электричество. Ток давал один из военных кораблей, пришвартованных на зиму здесь же, на набережной, у самого Эрмитажа.

Я спросила, где сейчас тот отдел, которым заведовал профессор. Он ответил, что отдел был эвакуирован, как только городу стала угрожать опасность от бомб.

— Почему же вы сами остались?

— Куда же я поеду? Мне восемьдесят шесть лет, я стар. А мои коллекции вечно молоды. В первую очередь надо было думать о них.

Потом он прибавил, что ему много раз предлагали уехать. Приходили. Настаивали. Но он отказался, так как у него тут есть его личная, небольшая, но очень ценная коллекция старинных русских монет, уже заве-

шанная Эрмитажу. Ее нужно еще привести в окончательный порядок, чем он сейчас и занят.

Старик с трудом встал с дивана карельской березы и трясущейся рукой отпер ящик письменного стола, где, переложённые газетами, лежали рядом монеты и медали. Между прочим, там были крошечные серебряные монетки величинной с рыбью чешуйку — один из первых русских рублей.

Я обратила внимание на один, гораздо более поздний, полтинник желтоватого цвета.

Ильин объяснил мне, что этот полтинник лежал рядом с медью. Что серебро очень восприимчиво, как вообще все металлы. И что только одно чистое золото не подвержено никаким влияниям и всегда остается самим собой.

На прощанье Ильин еще раз похвалил свою комнатку, в которой он умышленно отказался от радио, чтобы не слышать сигналов воздушной тревоги и не волноваться раньше времени.

Выйдя из Эрмитажа, мы тихо пошли по набережной, залитой солнцем. Мне бросилось в глаза, что на ближайшем военном корабле (не тот ли это, который питал профессорскую комнату током?) у зениток стояли моряки в касках. Вдали, на мосту, неподвижно застыл трамвай. Набережная была пуста. Тогда мы вдруг сообразили, что идет воздушная тревога, не услышанная нами у Ильина за отсутствием там радио.

Написала для заграницы очерк об Ильине. Назвала „Чистое золото”.

Через три дня, 7 июня 1942 года, Алексей Алексеевич Ильин скончался в маленькой комнатке Старого Эрмитажа. Он умер, сидя за столом, приводя в порядок заветшанную Эрмитажу коллекцию старинных монет.



Военный корабль, который увидела Вера Инбер, выйдя на Дворцовую набережную, не был тем зимним соседом Эрмитажа, вспомогательным судном «Полярная звезда», от которого всю зиму тянулся провод к служебному подъезду музея. «Полярная звезда» уже с месяц как покинула свою стоянку. Она снялась неожиданно, и профессор Доброклонский сразу же отправил взволнованное письмо председателю Ленгорисполкома:

«Последнее время Эрмитаж имел освещение от ко-

рабля, стоявшего вблизи здания. 2 мая сего года корабль изменил место своей стоянки, и мы совершенно лишены света и не в состоянии проводить какую-либо работу в наших подвалах и основных производственных помещениях Эрмитажа... Если не представляется возможным включить свет в зданиях, просим дать распоряжение об отпуске Эрмитажу керосина — 50—70 литров, так как при наличии у нас достаточного количества фонарей «Летучая мышь» мы смогли бы выйти из создавшегося тяжелого положения».

Эрмитажу, как учреждению законсервированному, света не дали: энергии, которую вырабатывали городские электростанции, еле хватало для заводов, фабрик, госпиталей, для трамвая, возобновившего движение по Ленинграду. В Эрмитаже было темно. Прошлым июнем работали без освещения даже ночью, а теперь заколоченные досками и фанерой окна не пропускали ни блеклого света белых ночей, ни лучей яркого июньского солнца. Привезли керосин, и до осени, когда у Дворцовой набережной пришвартовался легендарный ледокол «Ермак» и через набережную опять протянулся черный провод, ночью и днем в Эрмитаже горели фонари «Летучая мышь».

При керосиновых фонарях трудились эрмитажники все светлое лето. «Хранители, профессора, научные сотрудники,— говорится в квартальном отчете,— исполняют все виды работ по осуществлению консервации, переносят коллекции в более сухие помещения, производят просмотр вещей с целью предохранения ковров, тканей и пр. от моли, а металла — от коррозии и оловянной чумы, делают выборочные вскрытия неэвакуированных ящиков III очереди....»

А под вечер, погасив фонари, заперев кладовые и сдав ключи Анастасии Михайловне Лазаревой, хранители, профессора, научные сотрудники поднимались в Висячий сад, пропалывали и поливали грядки. Затем они опять спускались вниз, к своим рабочим столам, вынимали из ящиков книги и рукописи, снова зажигали «Летучую мышь». Одна заря, невидимая сквозь фанерные щиты, спешила сменить другую, тоже сквозь фанеру невидимую. Новый день начинался в Эрмитаже вместе с утренним выпуском «Последних известий», вместе с утренней сводкой Совинформбюро, и люди Эрмитажа торопились в подвалы и в кладовые, в залы, где надо было забивать досками окна, на крыши — латать дыры.

Гранитные атланты держали на своих могучих плечах карниз эрмитажного портика, тяжелый карниз, пересеченный глубокой трещиной, зияющий каменной раной. Люди, охранявшие Эрмитаж, не были атлантами. Они были дистрофиками. Но своими худыми, просвечивающими руками они поддерживали весь Эрмитаж.

Ни на день не прекращали они ожесточенного сражения с коварной сыростью, несущей гибель музейным вещам и музейным зданиям. Отразив весеннее наступление талых вод, они готовились противостоять хлестким атакам осенних ливней и яростным штурмам зимних вьюг.

## 12

Ледокол «Ермак» ошвартовался против Зимнего дворца, и в служебном вестибюле Эрмитажа опять горела покрашенная синим маловаттная лампочка. Полумрак располагал ко сну, и в покойном кресле клевала носом старенькая женщина, дежурная по охране. Сквозь дрему ей почудилось, что кто-то стучит в уже запертую на ночь входную дверь. Стук повторился. Старушка, кряхтя, зашлепала к двери. Голос мужчины, настаивавшего, чтобы его впустили ночью в Эрмитаж, был ей незнаком, и она вызвала начальника охраны. Губчевский отпер дверь.

Лунный серп, выплывший из-за лохматых осенних туч, осветил стоявшего подле служебного подъезда худого, небритого человека. За его спиной большим горбом выдавался вещевого мешок. Человек протянул обе руки Губчевскому.

— Ну как вы, родные, все тут живете? — дрогнувшим голосом произнес он, и только теперь Губчевский узнал постучавшегося в Эрмитаж ночного странника. Это был Левинсон-Лессинг.

До сих пор из Эрмитажа только уезжали. Сегодня, сентябрьским поздним вечером, в Эрмитаж впервые приехал человек с Большой земли. Он приехал оттуда, где хранились эрмитажные сокровища. Сегодня он расскажет обо всем — и о том, как идут дела на Урале, и о том, что заставило его, директора Свердловского филиала, пересечь на самолете Ладожское озеро и приехать в осажденный Ленинград.

Жизнь Свердловского филиала шла по колее, проложенной первым годом эвакуации. Позади остались полная тревоги зима и еще более тревожная весна, когда хранители с отчаянием вглядывались в показания психрометров, развешанных по стенам костела и Антирелигиозного музея: были недели, когда влажность воздуха в обоих хранилищах достигала 85 процентов! Летом, однако, после того, как контрольные вскрытия начали производиться и в этих зданиях, сотрудники филиала со спокойным сердцем могли сообщить в Ленинград: «Вещи в хорошем состоянии. Упаковка прекрасная».

С самим хранением музейных вещей в Свердловске обстояло как будто благополучно. Но была еще одна сторона эвакуационной жизни эрмитажных ученых, так и оставшаяся неустроенной.

Труд хранителя в советском Эрмитаже никогда не исчерпывался хранением. Споры о назначении наших музеев, которые велись в первые годы после революции, помнили теперь лишь одни эрмитажники-ветераны. Восторжествовала точка зрения тех, кто считал, что музеи должны быть и научно-исследовательскими центрами. Правда, не все тогда знали, кем был решен этот спор. А решил его Ленин. В своих воспоминаниях о Владимире Ильиче старейший член Коммунистической партии Ф. Н. Петров (в 20-х годах — начальник Главнауки Наркомпроса) рассказывает:

«Как-то Главполитпросвет Наркомпроса внес предложение сделать музеи только политико-просветительными учреждениями и отказаться от научно-исследовательской работы в них, соответственно изменив и характер экспозиции музеев. На коллегии Наркомпроса возник спор. По предложению А. В. Луначарского вопрос был передан на решение Владимира Ильича, и он ответил, что музеи не только политико-просветительные, но и научно-исследовательские учреждения. Без научной работы музеи не смогут давать тех знаний, в которых нуждается наш народ».

В начале 20-х годов, когда Ленин четко определил назначение советских музеев, многие нынешние профессора Эрмитажа были молодыми музейными работниками, делавшими первый шаг в науку. Их ученики вступили на научное поприще, когда уже выработался новый тип советского музейщика, сложился новый облик эрмитажного ученого. И теперь, в начале 40-х годов, хранители эрмитажных коллекций на Урале, к какому бы по-

колению они ни принадлежали, все острее чувствовали, что в их свердловской жизни не хватает того, без чего они не могут, просто не умеют жить.

Дни, казалось, были заполнены делами, и дня, казалось, для всех дел не хватало. Ленинградские ученые делали все, что должны были делать как хранители Эрмитажа и что обязаны были делать как свердловские горожане — отработывали субботники и воскресники на оборонных заводах, ездили на сельскохозяйственные работы в колхозы и совхозы. С лекций в военных госпиталях началась их просветительная работа в Свердловске, затем они стали читать лекции и доклады школьным педагогам, студентам университета и местных институтов, уральским художникам и архитекторам. Дня действительно не хватало, но чем бы они теперь ни занимались, инерция творческой мысли всегда возвращала их к прерванному войной научным работам — сколько увлекательных концепций не было продумано до конца, сколько фактов не было сопоставлено и сведено в систему, сколько интересных догадок осталось непроверенными, сколько книг недописано, сколько книг недочитано...

Эрмитажные вещи обрели, наконец, надежный покой, и жажда творчества, жажда научной работы снова охватила маленький коллектив эрмитажников на Урале, охватила, может быть, даже сильнее, чем когда-либо до войны, потому что нечем было утолить эту жажду. Книжки, сотни книг, которые им так невероятно нужны, остались в Ленинграде — на полках эрмитажной библиотеки, на столах в рабочих кабинетах; рукописи, почти законченные или только начатые, тоже в Эрмитаже, лежат в незапертых ящиках письменных столов. Даже популярные лекции по искусству приходится читать «всухую», без диапозитивов.

Лето прошло в хозяйственных хлопотах. Уголь припасен на весь отопительный сезон, и осенью директор Свердловского филиала решил отправиться в осажденный Ленинград — за книгами, за рукописями.

Хоженный-перехоженный служебный подъезд... Дверь долго не отворяли. Вещевой мешок оттягивал плечи. Он хотел уже скинуть мешок, но дважды щелкнул ключ в замке.

Губчевский не сразу узнал его. Потом примчалась Ильина — до войны она была работником просветчасти.

— Наш новый парторг,— сказал Губчевский, помогая снять вещевой мешок.

Все уже спали. Решили никого не будить. Вскипятили чай и до зари разговаривали. Говорили бы и дольше, но Ильина, взглянув на часы, всплеснула руками:

— Да вы же устали с дороги! Спать, всем спать!

Спать он не лег. Он обещал своим свердловчанам тотчас же написать из Эрмитажа. Развязав вещевой мешок, он вынул открытку.

«Дорогие эрмитажники!— писал он.— Перелет прошел прекрасно. Первые встречи — Губчевский, Ильина, с трогательными объятиями и поцелуями и необычайным радушием вплоть до горячего чая, огурчиков с огорода, разбитого в Висячем саду, и даже двух кусков хлеба, трогательно принесенных А. П. Ильиной, несмотря на все уверения, что у меня есть некоторый запас в мешке. Долгий ночной разговор... таков первый вечер и первая ночь в канцелярии, на заботливо устроенной Ильиной постели».

Завтра он напишет подробнее:

«Ленинград, 12 сентября 1942 г. Это письмо адресовано всем. Пишется оно ночью в бывшем помещении отдела кадров, где меня сегодня устроили и где в моем распоряжении отличная кровать с бельем, письменный стол, электричество, телефон.

Вчера ночью проезжал по городу в закрытой машине и мог различить лишь темные силуэты знакомых зданий на фоне пасмурного, брызгавшего дождем родного ленинградского неба. Сегодня город предстал передо мной в своей суровой нетронутой красоте. Я увидел Неву с пришвартованными к набережной кораблями, волны, разбивающиеся о гранит; я ходил по улицам и с радостью останавливался у столь хорошо знакомых зданий, приобретших то особое очарование после долгой разлуки, какое свойственно родным образам, выплывающим во сне. Я прошел по Невскому, увидел Александрино и улицу Росси, Русский музей. Кое-где я встретил на некоторых улицах отдельные дома в той или иной степени разрушения, старательно приводимые в благообразное состояние, но архитектурный облик города не изменился ни в чем...

Все это происходило уже во второй половине дня, когда я отправился в Управление по делам искусств. Утро я провел среди своих — в родных стенах Эрмита-

жа. Появилась Ада Васильевна Вильм в комбинезоне, вооруженная топором, и вместе с несколькими работниками охраны отправилась на заготовку дров. Довольно шумно ввалились единственные представительницы моего отдела — такие же, какими они были, когда мы расстались, — Ольга Михайлова и Тамара Фомичева... С бесконечной нежностью встретила меня вечно неизменная Анна Павловна Султан-Шах<sup>1</sup>. Она провела меня в библиотеку Востока, где мне бросилась в объятия Наталия Давыдовна Флиттнер, полная энергии, гордая, что она завоевала себе право остаться среди своих книг и рукописей; она много пишет, работает над «Культурой Древнего Востока»... В пустых залах с заботливо зашитыми фанерой окнами — рамы и сдвинутые с места шкафы напоминают о прошлом.

Затем я отправился к Михаилу Васильевичу Доброклонскому. Михаил Васильевич приобрел чрезвычайную стройность и несколько поражает исключительной живостью движений и речи. Полон интереса ко всему в нашей жизни. Подобно всем без исключения, он был чрезвычайно рад встрече со мной. Мой приезд воспринимается как своего рода праздник, потому что во мне воплощен сейчас для них весь наш коллектив.

...Таков беглый, но довольно полный и точный отчет о впечатлениях сегодняшнего дня. Сегодня я счастлив тем, что я здесь.

Р. S. В писчебумажном магазине с витринами, закрытыми по общему образцу деревянными щитами, я купил ту бумагу, на которой пишу, и коробку стальных перьев, и мог при желании купить и то и другое в неограниченном количестве».

Стопа писчей бумаги лежит перед ним на столе. В Свердловске не то что письма, даже официальные отчеты Комитету по делам искусств приходится писать на обороте старых плакатов; «Журнал записи температуры и влажности» — и тот сшили из каких-то агрономических бланков «Ведомостей расхода кормов». Какое блаженство водить новым пером по белой, гладкой бумаге, купленной сегодня на Невском — не расплываются чернила, не цепляет перо. Пожалуй, он напишет сейчас в Свердловск еще одно письмо:

«Ленинград, 12 сентября 1942 г. Когда мое первое

---

<sup>1</sup> А. П. Султан-Шах — старший научный сотрудник отдела Востока.

ленинградское письмо было уже заклеено, я вспомнил, что могу еще кое-что рассказать...»

Нет, он не станет и теперь, в своем втором письме, рассказывать товарищам, как жутко ему стало, когда он обходил сегодня утром эрмитажные залы: темная пустота склепа. Он не станет об этом писать еще и потому, что тягостные утренние впечатления за день понемногу сгладились — их развеяли встречи с друзьями, с милыми, бодрыми, деятельными людьми, населяющими Эрмитаж. Свое второе письмо он тоже заполнит рассказами о людях, о встречах.

Со следующего дня он принялся разыскивать и собирать рукописи свердловчан и подбирать книги по составленным ими спискам. Каждый день он узнавал что-нибудь новое о том, что было пережито в Эрмитаже осенью, зимой, весной, и сам рассказывал о годе, прожитом в Свердловске. Он рассказывал обо всем по порядку: как первоначально свердловские жители даже не подозревали о пребывании эрмитажных коллекций в уральской столице, и девушки на телеграфе упорно исправляли в приходивших телеграммах слово «Эрмитаж» на «Арбитраж»; как в Свердловске вскоре разузнали об эвакуированных эрмитажниках и стали их засыпать заявками на лекции; в филиале весной тоже случилось происшествие с мебелью — два ящика, что простояли во дворе под брезентом, покрылись плесенью изнутри, но, к счастью, на мебель в этих ящиках грибок не перекинулся. Он рассказывал о том, что Иессена и Грязнова, эрмитажных археологов, летом пригласили участвовать в очень важной геологической экспедиции на Чусовую и что добытые ими данные представляют незаурядный интерес в научном отношении и имеют практическое значение для промышленности. Но так ли много событий произошло за год в Свердловском филиале? И он больше слушал, чем говорил.

Его провели в комнату, где еще недавно жил Алексей Алексеевич Ильин. «Алексей Алексеевич,— писал он в Свердловск,— служил для всех источником бодрости». Ему отперли другую комнату — здесь были сложены десятки картин Бенуа, Сомова, Кустодиева, рисунки Добужинского, Лансере, Серебряковой. Он знал с давних пор эти картины, эти десятки рисунков под стеклом и в папках, чудесную коллекцию, которую с юных лет собирал Федор Федорович Нотгафт. Нотгафты погибли весной — сперва Федор Федорович, затем Елена Георги-

евна. «Федор Федорович,— писал он в Свердловск,— до последних дней сохранял спокойствие, бодрость и выдержку». Более двадцати лет длилась его дружба с Нотгафтом, а расстались они даже не попрощавшись как следует — мимоходом, в зале Рембрандта, где на стенах висели уже одни пустые рамы. Он сказал тогда Федору Федоровичу: «После войны мы с вами развесим все на старые места», а Федор Федорович ответил: «Вы — может быть, но не я». Федора Федоровича не будет среди них после войны; добрую память о Нотгафте сохранит собранная им коллекция... Комнату опять заперли — до конца войны.

Ему сообщили, что, по слухам, Андрей Яковлевич Борисов, эвакуированный весной с эшелонном Академии наук, умер где-то в пути. Известие еще не достоверно: эшелон направлялся в Казань, а слухи дошли из Чкалова. Весть эта ошеломила Борисов... надежда востоковедческой науки... Он написал товарищам в Свердловск: «Мне поведали исключительно грустную весть, быть может, требующую еще проверки: Андрей Яковлевич скончался в Чкалове. Не хочется верить...»<sup>1</sup>.

Ответных писем из Свердловска ждать пока не приходилось, но он писал ежедневно.

Вечерами он подолгу беседовал с Доброклонским. «Михаил Васильевич,— писал он свердловчанам,— сей-

---

<sup>1</sup> Слухи о кончине профессора А. Я. Борисова через некоторое время подтвердились. А. Я. Борисов умер не в Чкалове, а в Орехово-Зуеве. В апреле 1942 года он был снят на станции Орехово-Зуево с проходящего эшелона ленинградских учреждений Академии наук и в тяжелом состоянии доставлен в местную больницу.

Научное наследие А. Я. Борисова сохранилось. Ко времени своей трагической гибели этот выдающийся ученый успел, в частности, составить более тысячи карточек с подробным описанием сюжетов сасанидских и среднеазиатских гемм и приступил к чтению надписей на них. Его работу после войны продолжил и завершил талантливый представитель следующего поколения советских востоковедов В. Г. Луконин, окончивший в 50-х годах аспирантуру при отделе Востока Эрмитажа. Совместный труд А. Я. Борисова и В. Г. Луконина «Сасанидские геммы» был опубликован издательством Государственного Эрмитажа, В предисловии к книге В. Г. Луконин писал:

«Мне не довелось видеть А. Я. Борисова, не довелось учиться у него. Но когда я поставил себе задачей завершить его труд по изучению сасанидской глиптики, образ этого замечательного ученого и замечательного человека все время стоял у меня перед глазами. Я очень хотел, чтобы моя часть в этой работе была бы достойна его светлой памяти.

Ленинград, 22 июня 1961 года».

час полностью погрузился в Византию в связи с продолжением работы над армянской миниатюрой». Их нынешние свидания удивительно напоминали былые встречи в полупустом, безлюдном Эрмитаже начала двадцатых годов, когда им часто приходилось дежурить по ночам. На ночные дежурства Михаил Васильевич являлся тогда с огромными папками, наполненными репродукциями рисунков: рассматривая и сличая рисунки, он жоротал ночные часы. Сейчас, в блокадном Эрмитаже, на столе Доброклонского роскошные многоцветные репродукции армянских миниатюр лежали вперемешку с приказами и служебными отношениями, принесенными на подпись начальнику объекта.

Сидя вдвоем, совсем как встарь, они вспоминали прошлое, толковали о настоящем, заглядывали в будущее. Будущее Эрмитажа волновало обоих, и директор Свердловского филиала, хранящий эрмитажные коллекции в заколоченных ящиках на Урале, поделился с главным хранителем опустевшего музея теми соображениями, которые он недавно изложил в письме академику Орбели:

«Сейчас, после стольких тяжких потерь, задача сохранения наших основных кадров приобретает особенное значение. Сохранить нужно не только отдельных людей, но и рабочее ядро, научный коллектив, что может быть достигнуто, как мне кажется, лишь при условии концентрации ряда основных работников в одном центре. Таким центром в силу ряда причин, естественно, является сейчас Свердловск...»

Война и эвакуация, говорил он Доброклонскому, развели эрмитажников по всей стране. Его особенно беспокоят те, кого вывезли из Ленинграда весной: разбрелись по градам и весям, осели, куда занесло. Пока ему удалось добиться переезда в Свердловск еще двух эрмитажников — Щербачевой и Лисенкова, — оба, должно быть, уже в дороге. В самом деле, чем мог заниматься Лисенков, закинутый куда-то в Емуртлу, что было делать в Емуртле Евгению Григорьевичу с его поразительным знанием европейской графики? Или Мария Илларионовна Щербачева, — не грешно ли держать под спудом ее капитальную осведомленность во всем, что касается старых итальянцев и испанцев?

Он охотно ответил на расспросы Доброклонского о Федоре Антоновиче Каликине, командированном из Ленинграда в Свердловск еще в июле, с волнением выслу-

шал рассказ о том, как необычайно мужественно держал себя этот негибаемый старик, пока его тоже не подкосила цинга, с интересом прочел заявление Каликина, которое Доброклонский отыскал в ворохе бумаг на своем столе:

*«Главному хранителю Государственного Эрмитажа  
М. В. Доброклонскому  
от старшего реставратора Каликина Ф. А.»*

*По состоянию здоровья моего сердца и еще не прошедшей цинги мне запрещен пока, временно, физический труд и большое хождение. Поэтому прошу найти возможность поручить мне выполнять на дому письменную работу, материал для которой я собирал в течение семи лет своего заведования и руководства реставрационной мастерской картин Государственного Эрмитажа, а именно: «Руководство по реставрации станковой живописи», которое должно послужить ученикам и молодым реставраторам пособием в их будущей работе...»*

— Сейчас в Свердловске Федор Антонович окреп, — сказал он, возвращая листок Доброклонскому, и предложил обсудить еще одно дело, мысль о котором возникла у него уже здесь, в Ленинграде. Не кажется ли Михаилу Васильевичу, что среди сотрудников законсервированного музея есть еще несколько человек, очень много сделавших для Эрмитажа на протяжении военного года, но настолько ослабевших, что было бы целесообразно уговорить их покинуть на время родной город, — в Свердловске им будут рады.

В его письмах из Ленинграда теперь возникла новая тема.

«Вечер я провел в родных стенах — в длинном, затянувшемся за полночь разговоре с Анной Алексеевной Марковой<sup>1</sup>, Л. А. Ероховой<sup>2</sup> и Кирой Скалон<sup>3</sup>, подробно обсудив с ними перспективы их переезда к нам и почти окончательно об этом с ними договорившись. Поездка возможна для них лишь при условии, что мы все поедем вместе...»

<sup>1</sup> Анна Алексеевна Маркова, сотрудник отдела нумизматики.

<sup>2</sup> Людмила Александровна Ерохова, старший научный сотрудник, хранитель Особой кладовой.

<sup>3</sup> Кира Михайловна Скалон, старший научный сотрудник отдела истории первобытной культуры.

«...Маркова, Скалон и Ерохова твердо решили ехать».

«...Несколько тревожит упадок сил Ероховой и Киры Скалон, которые, впрочем, чрезвычайные молодцы. Я с ними очень дружен».

В утренние и дневные часы он рылся в книгах, отбирая все, что значилось в длинных списках свердловских товарищей, а по вечерам и ночам разбирал рукописи и много читал.

«20 сентября 1942 г. ...Занят отбором рукописей и книг. С книгами не все будет легко — я еще не нашел упакованные ящики, а значительная часть книг недоступна, или почти недоступна, так как снесена вниз в перевязанных пачках, лежащих горами... Перетаскиваю на спине свои собственные книги, что идет, увы, очень медленно...»

«22 сентября 1942 г. ...По вечерам занят разборкой рукописей, своих и чужих, отбором действительно нужного, а также читаю те книжки, которые не предполагаю брать с собой, и в результате почти не хватает времени...»

«27 сентября 1942 г. ...Начинаю подумывать об отъезде, хотя сделано очень мало и как-то очень мало успеваю за день сделать. Сажу до 2—3 часов ночи. Обуяла чрезвычайная жажда научной работы и мечтаю о том, чтобы по возвращении так наладить дела, чтобы иметь возможность уделить этому достаточно времени...»

«5 октября 1942 г. ...Отъезд наш намечен на 7—9 октября. Думаю, что все же не раньше 9-го, а может быть, и 10-го, так как я еще далеко не справился со всеми делами. Отбор книг занял много времени... Очень трудно с тарой, которой почти нет и которую надо изыскивать на ходу... Ленинградские товарищи проявляют огромную энергию в оказании нам помощи, в частности Эрнест Конрадович Кверфельдт, который целый день таскал книги сверху вниз, что меня даже встревожило... Большие сокращения вносятся мною в отбор диапозитивов, где очень много лишнего, что не будет использовано ни в университетском преподавании, ни в отдельных лекциях. К тому же необходимо максимально экономить в месте и в весе... Чувствую себя бодро, хотя по временам чрезвычайно устаю».

Еще один отъезд из Эрмитажа, еще одно прощание в служебном подъезде. Уехал В. Ф. Левинсон-Лессинг

14 октября. Он увозил с собой группу откомандированных на Урал научных сотрудников, несколько больных, истощенных женщин. Ящики с плотно уложенными книгами заняли более половины вагона. На берегу Ладоги пересели на катера. На том берегу озера ящики снова погрузили в товарный вагон. На стенке вагона было написано мелом: «Свердловск».

## 13

Зима — не зима. Снег лег на крыши Ленинграда еще в ноябре, но в декабре он растаял. Грязь, слякоть, туманная мгла, — когда же замерзнет Ладожское озеро, наладится ли нынче ледовая трасса, Дорога жизни?

Вражеские войска, как и год назад, у стен города. По Ленинграду бьет тяжелая осадная артиллерия, переброшенная летом из-под Севастополя. Огонь гаубиц и мортир направлен и в сторону Зимнего дворца — три снаряда, сотрясая музейные здания, разорвались 28 ноября во дворах Эрмитажа. Но с ноября в Эрмитаж доносятся раскаты и другого, далекого от Ленинграда сражения — победоносной битвы на Волге. С великих побед на берегах Волги начнется коренной перелом в ходе войны. Радостные перемены произойдут и на невыхских берегах.

Миновал декабрь. Новый год. Январь.

В ночь на 18 января над бессонным городом прозвучал ликующий голос диктора:

«В последний час. Прорыв блокады Ленинграда...»

Девушка с телеграфа торопится к служебному подъезду Эрмитажа. Срочная — из Еревана: «Беспредельно счастлив разрывом блокады, горячо обнимаю, целую славных эрмитажных людей. Орбели». Телеграммы из Свердловска — от Левинсона-Лессинга, от всего свердловского коллектива эрмитажников. Телеграмма от старика Каликина: «Спешу поздравить только что полученной вестью по радио о прорыве ленинградской блокады. Да здравствует наша доблестная Красная Армия». Телеграммы со всех концов страны. Счастливый день — блокада прорвана!

Кольцо блокады было прорвано южнее Ладожского озера, и по узкой полоске земли, освобожденной советскими войсками, пролегла железнодорожная линия, которая вновь соединила Ленинград с Большой землей.

На других же участках фронта противник по-прежнему находился у самого Ленинграда. До полного освобождения города от вражеской осады пройдет еще долгий год, еще немало трудностей выпадет на долю ленинградцев, еще немало испытаний ожидает и эрмитажников.

«Разрушения, причиненные Эрмитажу в последние месяцы, намного увеличили объем работ. Достаточно сказать, что за 1-й квартал 1943 года силами сотрудников Эрмитажа ручным способом вывезено около 80 тонн битого стекла и снега...»

Обобщенные цифры, обобщающие формулировки. В отчетном документе о положении дел в музее к началу мая 1943 года нет даже упоминания о том, что суммарная цифра битого стекла и снега, вывезенного «ручным способом», включает многие тонны льда, сколотого сотрудниками музея не с окрестных тротуаров и не в эрмитажных дворах, а в самих музейных залах.

Живые воспоминания дополняют архивный документ.

«Случилось это через неделю после прорыва блокады,— рассказывает П. Ф. Губчевский.— Поздно вечером 25 января сброшенная «юнкерсом» фугасная бомба весом в тонну разорвалась на Дворцовой площади. Зимний дворец, его колоссальное здание, фантастическое по плотности массива, колыхнулось, как утлый челн в бурном море. Чудовищную силу взрывной волны приняли на себя все эрмитажные здания. Взрывная волна, пройдя через Висячий сад, ворвалась в Павильонный зал и вышибла здесь уцелевшие стекла даже в окнах, обращенных на Неву. Десятки оконных проемов вновь зазияли пустотой. Ночью разыгралась пурга. Вихревые порывы ветра задували в залы мокрый снег, устилая полы белой пушистой пеленой. Утром стало таять, а к вечеру ударил мороз. Мокрый снег смерзся с битым стеклом, образовав на полах сплошную ледяную кору. Все мы принялись спасать от этого губительного настила фигурные паркеты и мозаичные полы. Мне достался Павильонный зал. Толстый слой бугристого льда, смешанного с осколками стекла, покрывал здесь чудесную мозаику, вделанную в пол перед входом в Висячий сад. В моих руках был железный ломик, и я знал, что под моими ногами. Сантиметр за сантиметром я осторожно скалывал лед и стекло».

Ломики постукивали и в других залах. Тонны льда и стекла выносили из музея на деревянных носилках<sup>1</sup>.

У пустого оконного проема — среди обломков дерева и осколков стекла — который уже день сидела обезглавленная девушка. Подле нее всякий раз задерживался теперь главный хранитель Эрмитажа, обходя многострадальные эрмитажные залы. «Эсмеральда» Россетти!.. Взрывная волна вышибла тяжелую фрамугу и обрушила ее на нежный мрамор склоненной девичьей шеи. Отбитая голова лежала тут же. Придет время, думал Доброклонский, и эрмитажные реставраторы воскресят Эсмеральду, мертвому мрамору можно вернуть жизнь. Жизнь вернется и в Эрмитаж... Для того-то и сражаются наши люди, идут на смерть — ради бессмертия прекрасного...

К пустому оконному проему, подле которого сидела обезглавленная Эсмеральда, подошли женщины в ватниках и платках. Они подтащили листы фанеры и, взобравшись на стремянки, загремели молотками. Еще одно окно зафанерено...

Всю минувшую неделю профессор Доброклонский ужасно волновался: ему казалось, что никак не может хватить фанеры и досок для такого множества окон. Но город делал все, что нужно было Эрмитажу, и у главного хранителя немного отлегло от души. Обходя теперь музейные залы, он уважительно, почти с завистью наблюдал, как его коллеги и сослуживцы с необычайным умением орудуют молотками, ножовками, рубанком.

---

<sup>1</sup> Повреждения, причиненные зданиям Эрмитажа 25 января 1943 года, охарактеризованы в докладной записке на имя ленинградского уполномоченного Комитета по делам искусств при СНК СССР:

«Почти все стекла в окнах Зимнего дворца на фасадах, обращенных в сторону Дворцовой площади и Адмиралтейства, выбиты; сделанная в летний сезон зашивка сорвана. Окна фасадов, обращенных внутрь Большого двора, имеют тот же характер повреждений. Наружные двери Октябрьского подъезда раскрыты силой взрыва и одно из дверных полотен сорвано с места. Внутренние двери из вестибюля на Октябрьском подъезде, ранее закрытые на имеющиеся запоры и забытые накладкой доски, также раскрыты, шпингалеты погнуты и сорваны.

Сорваны, поломаны и повреждены деревянные части оконных переплетов в 50 местах.

По другим зданиям Эрмитажа выбиты стекла и сорвана фанерная зашивка в 97 местах...»



Передохнуть после январского аврала не удалось, хотя с января до середины мая Эрмитаж не подвергался ни бомбежкам, ни артобстрелу. Бомбы не падали, но в феврале тревожно зазвенела весенняя капель. Весна, необычайно рано занесенная в Ленинград невесть откуда подувшими теплыми ветрами, чуть ли не с самого февраля обрушилась истинным стихийным бедствием на продрогший, две зимы не топленный Эрмитаж.

Влага, высвобожденная весенним теплом из мерзлых стен, пропитала воздух эрмитажных залов и еще интенсивнее, чем прошлой весной, оседала на холодном мраморе, на зеркалах, на бронзе, на каменных вазах,— из Кольванской вазы воду вычерпывали ведрами. С плафонов и карнизов отваливалась лепка, повсюду тускнела и слезилась позолота, осыпались краски. От сырости заржавел металлический потолок Главной лестницы, и солнечный Олимп едва проступал теперь черным пятном на живописном плафоне; оголив ржавый металл, грязными лохмотьями свисала с него краска; опадая, она долго кружила в воздухе и покрывала цветными чешуйками влажные мраморные ступени.

Вода, вода, везде вода...

Всю весну длилась в Эрмитаже изнурительная борьба с водой. Вода наступала, эрмитажники оборонялись. Они защищали музейные вещи от ржавчины и оловянной чумы, от плесени и жучка, от набухания и осыпания красок, от всего, чем вновь угрожала музею вторая военная весна.

Наиболее спокойно той беспокойной весной вел себя в музее египетский жрец Петесе; его тридцативековая мумия оставалась в блокадном Эрмитаже, и время от времени на ней выступали соли, но их аккуратно обтирала профессор Н. Д. Флиттнер, каждый раз воздавая должное искусству мумификаторов Древнего Египта. Не доставляли эрмитажникам особых хлопот и трупы лошадей, извлеченных археологами из алтайских курганов,— две тысячи пятьсот лет пребывания в вечной мерзлоте навсегда предохранили их от всякой порчи. Но если сырая ленинградская весна ничем не угрожала иссохшей мумии египетского жреца и шкурам пазырыкских боевых коней, дубленным вечной мерзлотой, то десятки тысяч вещей, искусно выделанных рукой человека из металла и глины, резанных из дерева и по дере-

ву, тканых из шерстяных и шелковых нитей, писанных маслом и водяными красками, рисованных углем и пастелью, десятки тысяч произведений искусства настойчиво требовали себе новых пристанищ, таких, где бы не капало с потолков, где бы не текло со стен, где бы вода не заливала полы.

Из отсыревших помещений переносили в более сухие места все, что только можно было взвалить на плечи или на спину, перетащить волоком по залам, спустить или поднять по лестницам. Но коллекционная мебель продолжала стоять в помещении дворцовой конюшни под Висячим садом, и вынести эту тяжелую, крупногабаритную мебель у эрмитажников не было физических сил. Может, обойдется на этот раз, может быть, сырость все же изгонят частые и долгие проветривания, пронзительные сквозняки?

Сквозняки продували хранилище мебели, а наверху, в Висячем саду, весеннее солнце топило снег. Снег таял здесь каждую весну вот уже второе столетие, и проникновению талых вод в дворцовые конюшни препятствовал свинцовый ковер, настланный под метровым слоем садовой земли. Некогда на этой земле были высажены деревья. Тоненькие саженцы вымахали мощными стволами и шумными кронами, но разросшиеся деревья пришлось выкопать, как только садовники заметили, что могучие древесные корни, добравшись до свинцового покрова, буравят его с неукротимой жизненной силой. Война отменила капитальный ремонт поврежденной гидроизоляции, предполагавшийся в 1941 году, но все обходилось более или менее благополучно, пока действовали водоотливные устройства. Весной 1943 года вертикальные трубы, отводящие воду из Висячего сада в специальные колодцы, закупорило нарастающим льдом и мусором. Солнце топило снег, и талые воды, не находя другого пути, стали стекать сквозь дыры, пробуровленные корнями в свинцовом ковре, на своды нижнего этажа, а оттуда хлынули в дворцовую конюшню,— ливень, наводнение, потоп!

«Из помещения, где хранится мебель,— отмечает служебный документ тех дней,— силами научных сотрудников вынесено 500 ведер воды; работа продолжается».

Потоки воды заливали коллекционную мебель, и к Эрмитажу ускоренным шагом подошло подразделение курсантов военной школы. Это были молодые парни из Вологды, Череповца, Устюжны, недавно переброшенные

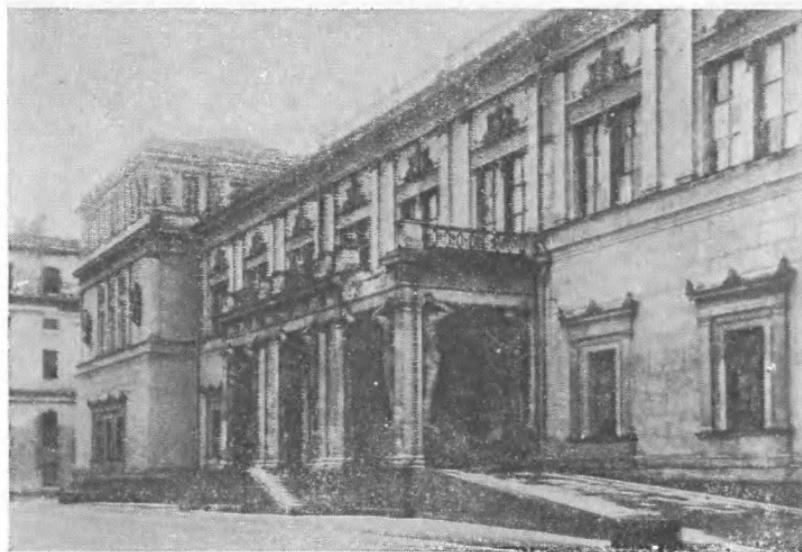
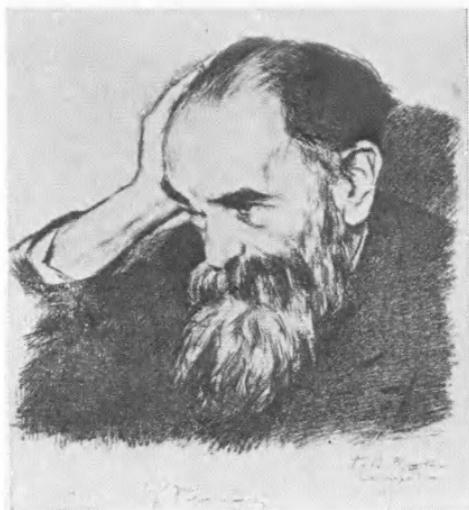
Крупнокалиберный снаряд угодил в одну из дворцовых стен, выходящих на Кухонный двор. Рисунок В. В. Милютиной.



Академик И. А. Орбели. Март  
1942 г. Литография.

«Эрмитаж — цель № 9». Вра-  
жеская артиллерия изуродова-  
ла эрмитажный портик с гра-  
нитными атлантами. Фотогра-  
фия военных лет.

---



Тогда же, зимой 1941/42 года, из огромных окон Главной лестницы взрывная волна вышибла все стекла; среди мраморных стен и гранитных колонн закружился мокрый снег.

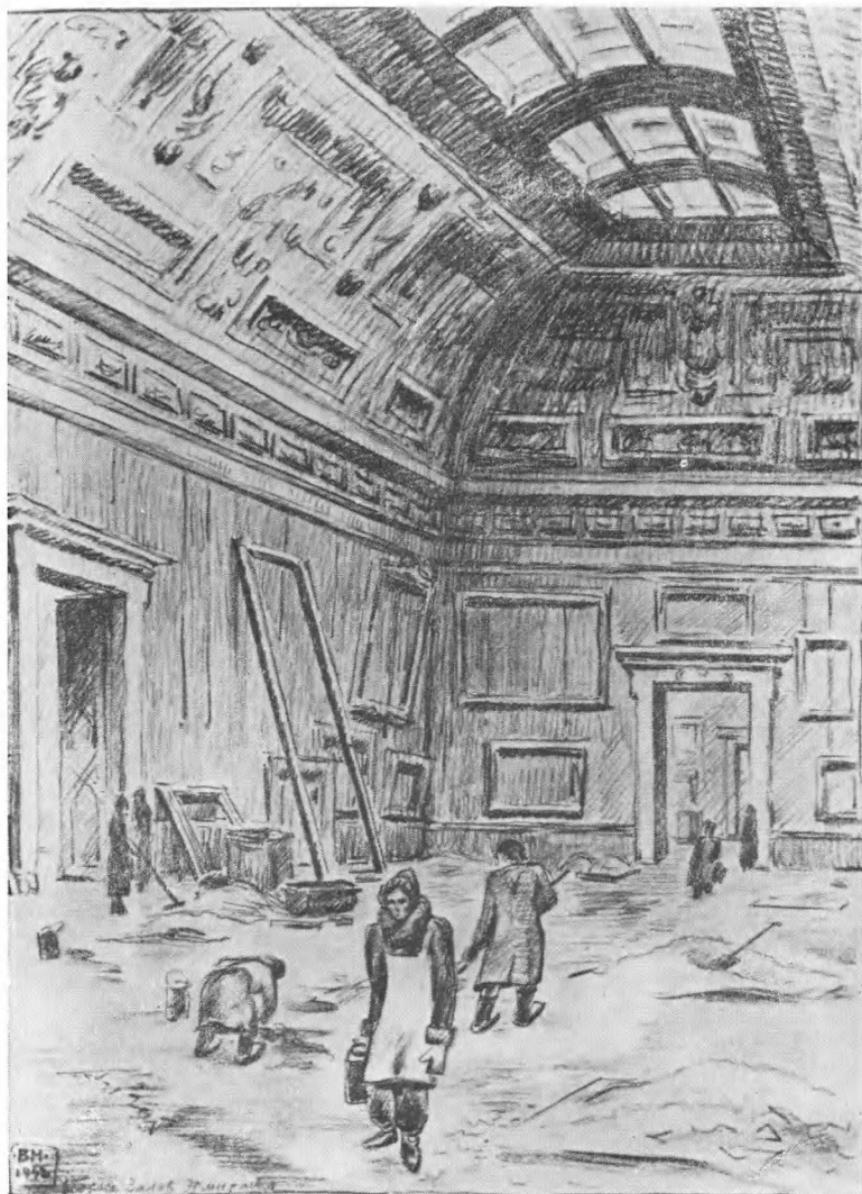
Главная лестница. Современная фотография.



Гранитные атланты держали  
на своих могучих плечах про-  
гнувшийся карниз эрмитажного  
портика.  
Фотография военных лет.

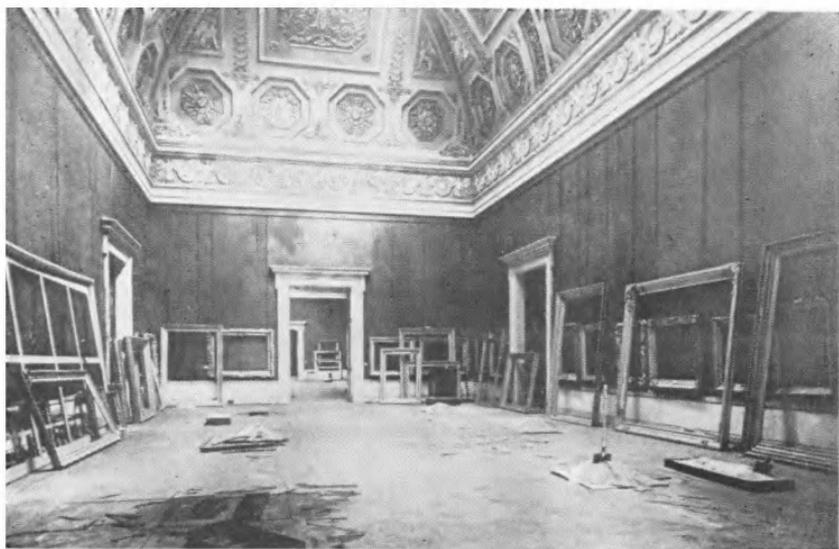


Люди, охранявшие Эрмитаж, не были атлантами, но своими худыми, просвечивающими руками они поддерживали весь Эрмитаж.  
Уборка музея. 1942 г. Рисунок В. В. Милютиной.

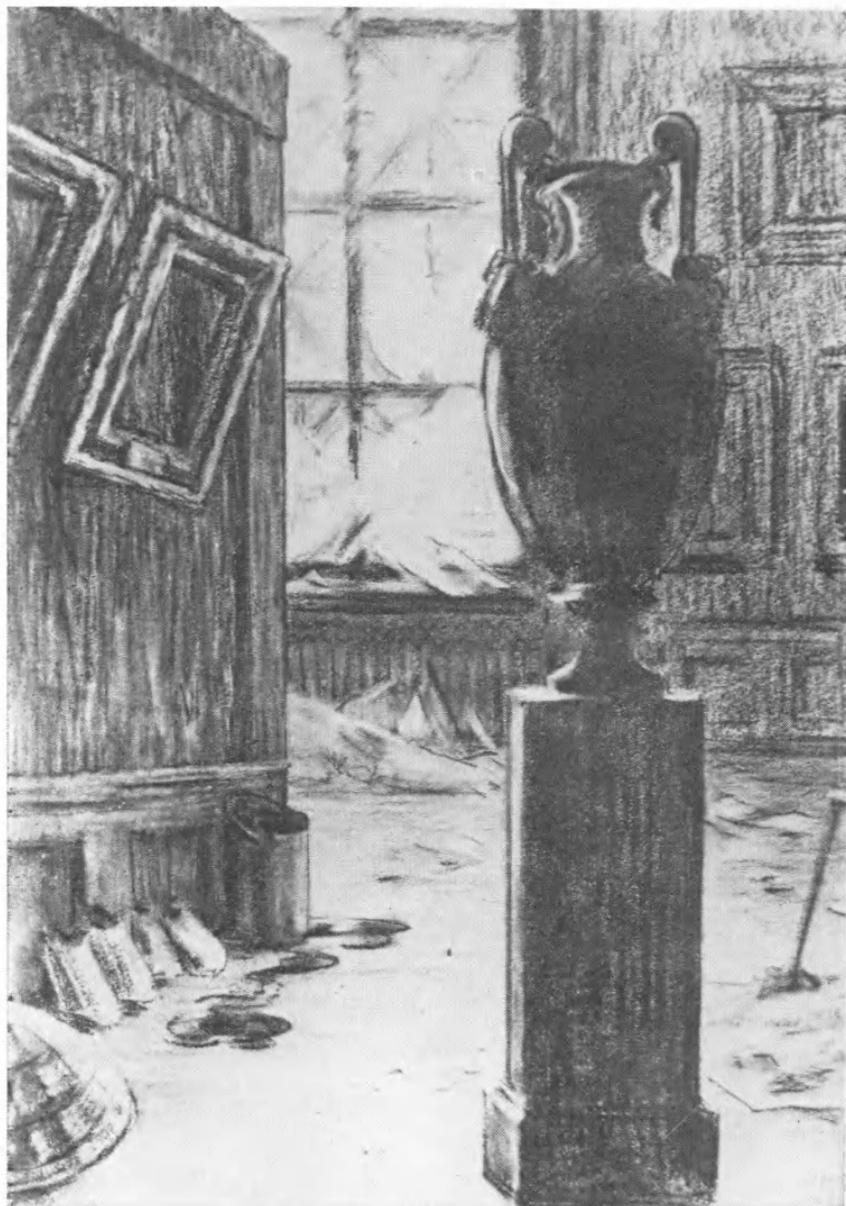


Всюду кучи песка, всюду  
воткнутые в песок лопаты.  
Рисунок В. В. Милютиной.

Все картины увезены, вазы и  
торшеры развинчены...  
Фотография военных лет.

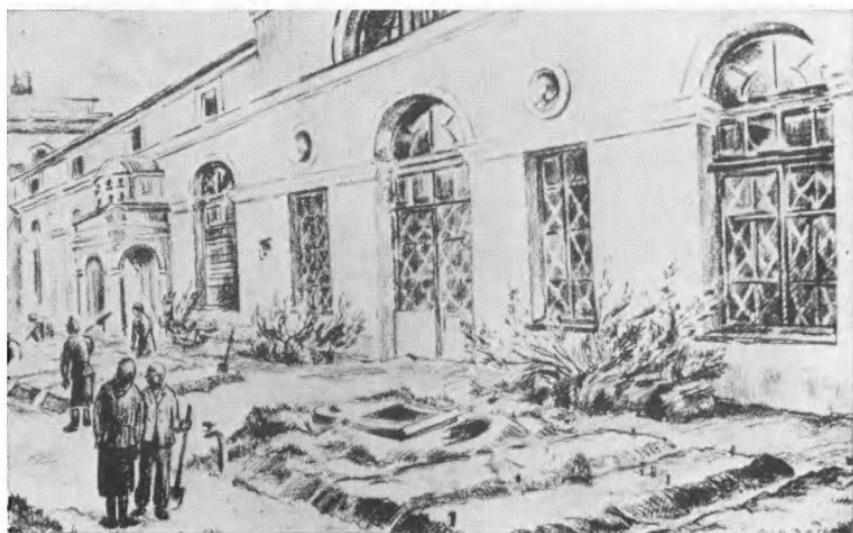


«Мертвый, как гробница, Эрми-  
таж». Рисунок В. В. Милютин-  
ной.

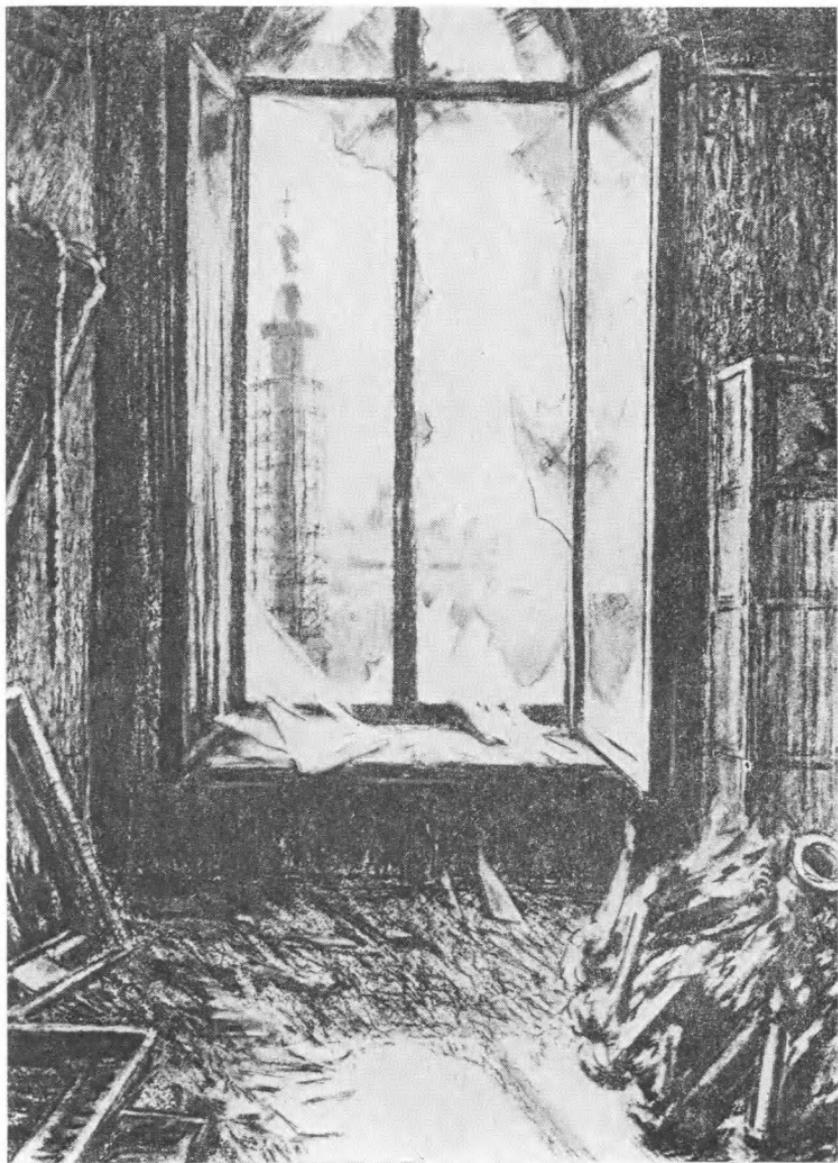


Знаменитый эрмитажный Висячий сад. Современный вид.

Весной 1942 года в Висячем саду были разбиты огородные грядки. Рисунок В. В. Милютиной.



Четырнадцать километров от-  
деляют по-прежнему Эрмитаж  
от линии фронта.  
Золотая гостиная Зимнего  
дворца. 1942 год.  
Рисунок В. В. Милутиной.



70-миллиметровый снаряд разорвался внутри хранилища старинных карет.  
Фотография 1942 г.



Над галереей Двенадцатиколонного зала зияла дыра от прямого попадания снаряда.  
Фотография 1942 г.



Тяжелая фрамуга, вышибленная взрывной волной, обезглавила мраморную Эсмеральду. Главный хранитель М. В. Доброклонский у скульптуры Росетти. Фотография 1943 г.

Последний из снарядов, попавших в Эрмитаж, разорвался в Гербовом зале.



Снаряд разворотил междуэтажное перекрытие, и сквозь большую пробоину стала видна Растреллиевская галерея.  
Фотография 1944 г.



Эта выставка была задумана в Эрмитаже 27 января 1944 года — в день полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.

Эрмитажникам вспоминался старый зодчий, под сводами бомбоубежища проектировавший триумфальные арки для встречи советских воинов-победителей.

А. С. Никольский. Проект одной из триумфальных арок.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ  
приглашает Вас на открытие  
ВРЕМЕННОЙ ВЫСТАВКИ

ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ,  
ХРАНИВШИХСЯ В ЛЕНИНГРАДЕ,  
ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ  
состоится

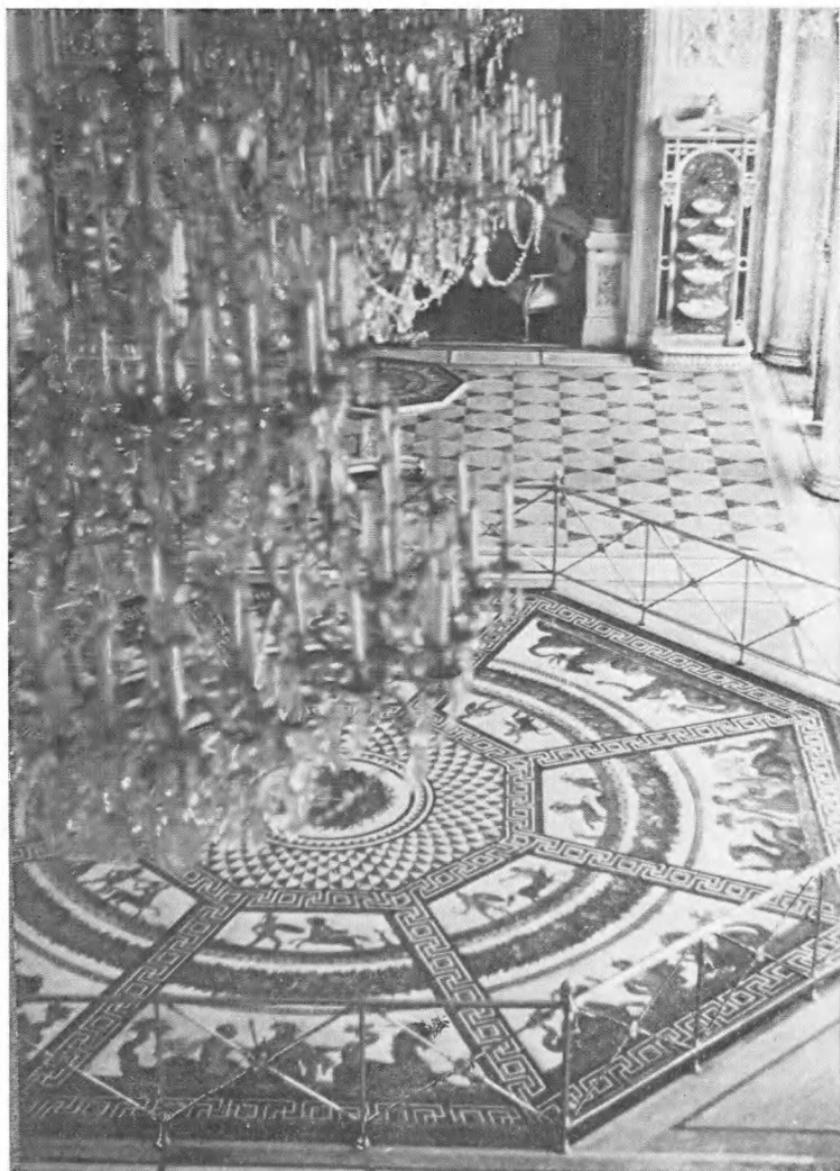
8-го ноября 1944 г. в 13 час.

Вход с Советского подъезда.  
Дворцовая набережная, д. 34

на 2 явца



Чертог сиял! Двадцать восемь люстр, отремонтированных руками научных сотрудников Эрмитажа, зажглись в Павильонном зале 8 ноября 1944 года. Павильонный зал. Современная фотография.



И кончилась в Эрмитаже эпоха фанеры...  
Остекление окон в Галерее древней живописи.  
Фотография 1945 года.

«Вчера в двух эшелонах в Ленинград прибыли все ценности Эрмитажа, эвакуированные в начале войны в Свердловск» («Ленинградская правда», 11 октября 1945 г.).

Главный подъезд Зимнего дворца. Разгрузка эрмитажных сокровищ.



через Ладожское озеро, чтобы в одной из военных школ фронтового Ленинграда стать младшими лейтенантами и принять участие в предстоящих освободительных боях. Их привели впервые в Эрмитаж, открыв перед ними не двери, а ворота, и показали мебель невиданной красоты, мокрую мебель, которую они тут же принялись перетаскивать из бывшей дворцовой конюшни в бывший дворцовый зал, где под стеклом музейных витрин почему-то лежали дохлые лошади. Человек в штатском, назвавшийся начальником охраны музея, коротко, на ходу, объяснил, что два с половиной тысячелетия назад на этих боевых конях вожди воинственных кочевых племен носились по бескрайним степям Алтая, а мебель, которую приходится теперь переносить в экспозиционный зал отдела истории первобытной культуры, сделана во времена французских королей — Людовика XIV, Людовика XV, Людовика XVI...

Курсанты ушли, и начальник охраны опять остался в музее со своей «старушечьей гвардией». Эрмитажные старушки, как и раньше, дежурили на своих постах, а научные сотрудники продолжали переносить вещи, сушить, чистить. И снова огородничали в Висячем саду.

Те, кто 12 мая возился на огородных грядках Висячего сада, услышали за облаками знакомый гул вражеского самолета. Самолет вынырнул из-за облаков, сделал несколько кругов над Невой, с грохотом пронесся совсем близко над Зимним дворцом и ушел в облака.

«Самолет скрылся, — рассказывает П. Ф. Губчевский, — и вслед за тем мне, как начальнику охраны, позвонил из сторожевой будки встревоженный постовой: «Над Кухонным двором облако дыма, что-то горит». Пожара мы боялись больше всего: бомба или снаряд способны разрушить какую-то часть здания, а пожар имеет свою динамику. История Зимнего дворца была мне достаточно хорошо известна, и в годы блокады я никогда не забывал о страшном пожаре, который в 1837 году уничтожил в Зимнем дворце все, что может быть уничтожено огнем. Но когда я добежал до Кухонного двора, облако дыма уже рассеивалось. Через несколько минут прибыло городское пожарное начальство. Осмотрелись — ничто нигде не горит, гарью ниоткуда не пахнет. Пожарные уехали, а нам все-таки было беспокойно. Мы еще раз оглядели Кухонный двор и вдруг заметили, что в нижнем этаже, там, где находятся музейные кладовые, высажено окно. Я было решил, что ночью

кто-то проник сюда со злым умыслом и, подтащив стремянку к разбитому окну, заглянул в кладовую: среди картин, расшвыранных в разные стороны, среди изодранных холстов и сломанных подрамников лежала 250-килограммовая фугасная бомба! Только потом я понял, что произошло: бомба, сброшенная фашистским самолетом, попала в карниз здания на противоположной стороне двора, ударилась о карниз, но не взрывателем, а кожухом, раздробила столетний кирпич в мельчайшую пыль, поднявшуюся густым облаком над двором, а затем, срикошетировав по касательной, опять же своим кожухом вышибла окно кладовой и спокойно улеглась на рухнувший под ее тяжестью штабель картин».

Кухонный двор и все проходы к нему тотчас же оцепила эрмитажная команда МПВО. Вызвали саперов. Они обезвредили и увезли неразорвавшуюся бомбу. Кладовой занялись хранители. «В картинохранилище отдела истории русской культуры,— гласит архивный документ,— в результате попадания фугасной авиабомбы часть картин полностью уничтожена, другие повреждены. Картины перенесены в соседние помещения, разобраны по степени повреждения. Начата реставрация наиболее ценных картин и учет понесенных потерь».



В небе по-прежнему висят аэростаты воздушного гражданства. Улицы по-прежнему перекрыты баррикадами, окна нижних этажей загорожены щитами, завалены песком. В садах, скверах и на пустырях — огородные грядки.

«...50% площади Висячего сада засеяно турнепсом, свеклой, морковью, укропом, шпинатом и луком-батунном,— сообщает Эрмитаж 23 мая в Дзержинский райком ВКП(б).— Для посева использованы семена, полученные через райзо... Оставшуюся земельную площадь предположено использовать под капусту, брюкву, свеклу и картофель...»

Густой зеленой ботвой провожал Висячий сад второе блокадное лето.

Вечером 9 августа неутомимая Наталия Михайловна Шарая, хранитель отдела истории русской культуры и начальник санитарного отделения команды МПВО, до позднего часа задержалась в Соляном переулке, в фи-

диале Эрмитажа, где продолжала приводить в порядок еще остававшиеся там вещи. Едва она вернулась на Дворцовую набережную, как начался артиллерийский обстрел города и в Эрмитаж позвонили: снаряд попал в здание филиала, черный дым, похоже — пожар...

«Подробности о случившемся я узнала только тогда, когда мне, наконец, удалось снова добраться до Соляного переулка, — рассказывает старший научный сотрудник Н. М. Шарая. — Произошло вот что: артиллерийский снаряд, пробив чердачное перекрытие и перекрытие между вторым и первым этажами, разорвался в вестибюле, где тоже стояли ящики с нашими вещами. Тотчас же загорелись три деревянных ящика, и огонь легко мог перекинуться на все здание. Но этого не допустили два работника охраны Эрмитажа, две пожилые женщины, которые в тот вечер несли дежурство по всему филиалу — в его огромном здании никого больше не было. Вдвоем они предотвратили большое бедствие, погасив разгоравшееся пламя с помощью песка, воды и, я бы сказала, силой своего духа. Одной из них — Олимпиаде Андреевне Большаковой — не много оставалось до шестидесяти; в тех же преклонных годах была и другая постовая — Селиверстова, имя и отчество которой за два десятилетия, к сожалению, стерлось из моей памяти. Они вдвоем ликвидировали пожар. Глядя на черный от сажи и копоти полуразрушенный музейный вестибюль, я вспомнила слова Некрасова о мужестве русской женщины: „Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет”».

Минула тревожная ночь; утром, сдав вахту двум другим старушкам, Олимпиада Андреевна и ее подруга пошли к своим картофельным грядкам.

Осенью, когда в Висячем саду выкопали последний картофель, аэростаты еще маячили в небе и артиллерийская канонада не ослабевала. Но осенние месяцы прошли в Эрмитаже без особых происшествий — ничто не отвлекало хранителей музея от той кропотливой работы, которая сопутствовала каждому новому перемещению музейных вещей.

Железный порядок эрмитажного инвентаря! Два года музейные вещи кочевали из кладовой в кладовую, блуждали по залам и этажам, меняли внутриэрмитажные адреса, и всякий раз нужно было отмечать в одном

списке, что такая-то вещь выбыла из такого-то хранилища, и вписывать ее в другой список; нужно было непрерывно пересоставлять топографические списки каждого зала, каждой кладовой, каждого научного кабинета, каждого вестибюля, каждой лестничной площадки, брать вещи на новый инвентарный учет по месту их новой музейной прописки. Непостижимого терпения потребовала от хранителей Эрмитажа работа, которой они занимались все лето и всю осень 1943 года. В итоговой докладной записке указано:

«Взято на учет по всем отделам 116 173 предмета».



Письма из Свердловска приходили теперь часто. Все в тех же зданиях громоздятся там ящики с эрмитажными коллекциями, но к концу года городские власти обещают освободить для Эрмитажа еще одно большое здание; все теми же контрольными вскрытиями заняты товарищи в Свердловске, но многие уже готовят новые книги, пишут диссертации; все те же круглосуточные дежурства в Свердловском филиале, и работа в колхозах, на картофельных полях: копают картошку — не блокадную, эвакуационную.

«Через сутки посуточно дежури́м,— читали в Ленинграде письмо профессора А. А. Передольской.— Одна часть нашего коллектива мобилизована на сельскохозяйственные работы, другие, поочередно, работают в колхозе близ Свердловска, где у Эрмитажа есть участок подсобного хозяйства — картофельное поле. Наиболее слабые и старшие по возрасту дежурят за всех отсутствующих...»

В августе письма были посвящены выставке «Военная доблесть русского народа», которую эрмитажники развернули в Свердловске. «Основную ее часть,— писала о выставке профессор М. Э. Матье,— составили те экспонаты, которые до войны находились на экспозиции Эрмитажа «Военное прошлое русского народа»... Помимо памятников Эрмитажа на выставке представлены материалы, освещающие события Великой Отечественной войны — произведения советских художников (живопись и графика), документы и трофеи, полученные с фронта».

В Ленинграде читали письма из Свердловска и представляли себе, как водят сейчас товарищи экскурсию за

экскурсией, сколько было счастливой суеты перед открытием, как окантовывали гравюры и документы, красили щиты и стенды... «В дни подготовки к выставке, а также в вечер ее открытия,— писала А. А. Передольская,— настроение у всех было приподнятое, взволнованное. Все помыслы были направлены к Ленинграду, к Эрмитажу...»

Московское радио слушали одновременно и в Ленинграде и в Свердловске: сводки Совинформбюро ежедневно сообщали о все усиливающихся ударах Советской Армии, о наступлении наших войск на многих фронтах. С приближением третьей военной зимы в блокадном Эрмитаже и в Свердловском филиале возрастала общая уверенность в скором разгроме врага под стенами родного города.

«Последние события вселяют уверенность в том, что близится наше возвращение,— писал из Свердловска в Ленинград В. Ф. Левинсон-Лессинг 8 октября 1943 года.— Нужно, правда, вооружиться терпением, ибо мы, увы, поедем значительно позже других. Во всяком случае ваша жизнь, должно быть, уже скоро начнет входить в нормальную колею».

Скоро, скоро, теперь уже скоро...

Снаряды еще крушили дома в осажденном городе, а по решению Ленинградского городского комитета партии и Исполкома городского Совета в Ленинграде было уже открыто специальное училище для подготовки «высококвалифицированных строителей, маляров, живописцев, лепщиков, стекольщиков-витражистов, мраморщиков, мозаичистов, резчиков по дереву, позолотчиков, кузнецов по художественной ковке, столяров-краснодеревцев для реставрации и наиболее сложных отделочных работ в жилых и общественных зданиях, пострадавших в период блокады». Все они скоро понадобятся и Эрмитажу, скоро, теперь уже скоро...

Скоро кончится в Эрмитаже эпоха фанеры, и главный инженер хладнокровнее, чем обычно, относится к тому, что у него на складе опять нет ни одного фанерного листа — похоже, что в кое-каких дворцовых окнах, словно замороженных добрыми волшебниками, довоенные стекла все-таки доживут до конца войны.

Стекла эти вылетели в декабре. «Вражеским снарядом, попавшим 16 декабря во двор Дворца искусств и разорвавшимся внутри двора, выбито до 750 кв. метров стекла — в том числе в Гербовом зале, Фельдмаршаль-

ском зале, Петровском зале и в эрмитажных помещениях, имеющих богатую внутреннюю художественно-историческую отделку,— сообщает в Ленгорисполком профессор М. В. Доброклонский.— Государственный Эрмитаж просит оказать содействие в получении 5,5 куб. метров фанеры...»

Это был двадцать девятый снаряд, попавший в эрмитажные здания в годы блокады. Последний, тридцатый снаряд разорвался 2 января 1944 года в Гербовом зале Зимнего дворца. Он разворотил междуэтажное перекрытие, и из Гербового зала стала видна сквозь большую пробойну в полу усыпанная щебнем Растреллиевская галерея. Взрывная волна, метнувшись в Петровский зал, примыкающий к Гербовому, сорвала здесь с потолка массивную бронзовую люстру, и та, рухнув, раздробила прекрасный художественный паркет, набранный из разных пород цветного дерева. Раздробленные куски амаранта смешались с осколками стекла и обломками бронзы, с хлопьями краски, от сотрясения опавшей со стен.

Последний снаряд. Последний акт о повреждениях, причиненных артобстрелом<sup>1</sup>.



Двадцать седьмое января...

Еще вчера снег лежал нетронутой целиной у главных подъездов Эрмитажа — и у того, что на Дворцовой набережной, и у того, где прогнувшийся карниз поддерживают гранитные атланты. Еще вчера широкие ступени, ведущие к обоим подъездам, были покрыты белой снежной простыней, такой же ровной, гладкой и безжизненной, как в первую блокадную зиму, когда в ле-

---

<sup>1</sup> В Гербовый зал артиллерийский снаряд попал в 12 часов 10 минут. Оперативная сводка штаба МПВО Государственного Эрмитажа от 2 января 1944 года отмечает, что произошел неполный разрыв снаряда и что неразорвавшаяся его часть застряла в толще перекрытия между первым и вторым этажами. В связи с этим в Эрмитаже были приняты особые меры, перечисленные в той же сводке:

«12.10 — Выслана разведка в количестве 3-х бойцов.

12.15 — Оцеплен очаг поражения.

12.45 — Вызваны подрывники из штаба МПВО района.

13.57 — Прибыли подрывники.

15.00 — Неразорвавшаяся часть снаряда увезена подрывниками».

нинградской поэме Веры Инбер возникла строка, врезавшаяся в память ленинградцев:

Мертвый, как гробница, Эрмитаж...

Вчера еще длилась третья блокадная зима, а сегодня, 27 января 1944 года, зима уже не блокадная. Взрыхливая валенками снежную целину, эрмитажники взбираются по погребенным под снегом ступеням к каждому из наглухо забитых музейных подъездов. В заржавленные кронштейны вставляют они красные флаги победы.

В красных флагах весь Ленинград. Марши гремят из репродукторов. Победные марши и слова о победе: «...Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады...»

Развешаются праздничные флаги, звучит праздничная музыка, праздничные номера «Ленинградской правды» расклеены на газетных щитах:

«Войска Ленинградского фронта в итоге двадцатидневных напряженных боев... отбросили противника от Ленинграда по всему фронту на 65—100 километров. Наступление наших войск продолжается...»

Праздничный номер «Ленинградской правды» приколот сегодня и к доске в служебном подъезде Эрмитажа. Старая доска для объявлений — два с половиной года на ней вывешивали приказы начальника объекта и начальника штаба МПВО, траурные бюллетени и «Боевые листки», сообщения о новых нормах хлебного пайка и извещения о научных заседаниях в Школьном кабинете, недельные графики работ по консервации музея и «молнии» об авралах после попадания бомбы или снаряда. Сегодня всю эту старую доску занимает праздничный номер «Ленинградской правды».

«Граждане Ленинграда! — читают эрмитажники обращение командования Ленинградского фронта. — Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой преодолевая все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавали для дела победы все свои силы...»

Вечером над городом-победителем прогрохотало двадцать четыре торжественных залпа из трехсот двадцати четырех орудий. Многоцветные огни, взвившись в ленинградское небо, осветили каменные громады эрмитажных зданий, стены, истерзанные снарядами и бом-

бами, темные глазницы забитых фанерой окон, бессильных отразить даже огни салюта. Но Эрмитаж стоял на праздничной набережной не мертвый, а живой. Двадцать четыре раза прогрохотали орудия, салютуя защитникам Ленинграда, и двадцать четыре раза зарево победы озаряло Эрмитаж. Он стоял над Невой весь в шрамах и рубцах, как бывалый солдат, беспримерных боев ветеран.

## 14

Блокада снята, война отодвинулась от Ленинграда. Но война еще идет, Эрмитаж остается на военном положении, и вахтер в служебном подъезде проверяет командировочное удостоверение первого посетителя, которому разрешили пройти в музейные залы.

«Предъявитель сего,— читает вахтер,— специальный корреспондент газеты «Известия» Татьяна Николаевна Тэсс...»

Вероятно, корреспондент из Москвы напишет о том, как выглядит Эрмитаж после девятист дней блокады.

«У входа,— написала Татьяна Тэсс,— сидит вахтер — седая, пожилая женщина, похожая на преподавательницу музыки. Она в теплой шубе и капоре; рядом с ней стоит винтовка. Вахтер проверяет мои документы, от ее дыхания вьется струйка голубого пара. Главный хранитель, засунув руки в карманы, терпеливо ждет конца проверки. Потом он говорит:

— Итак, пройдемте по объекту.

И идет вперед, позвякивая ключами.

И я иду вслед за ним... За большой тяжелой дверью перед нами открывается Эрмитаж в ту его трудную и необычную пору, когда он стал называться объектом.

Высокие окна забиты фанерой. Сквозь узкую полоску стекла, уцелевшую под самым потолком, льется голубоватый влажный свет. Стоит холод, такой жестокий, как если бы его собрали со всего города и заперли здесь. Прямо перед нами сторожат дверь два раздетых рыцаря, два манекена, с которых сняли все их панцири, кольчуги, забрала и оставили только порыжевшие трусики на худых, набитых опилками ногах. Возле манекенов стоят ящики с песком, лежат громадные клещи, топоры, ломы...»

До того, как очерк Татьяны Тэсс «В Эрмитаже» появился на страницах «Известий», в музей приходили сотни писем — и от фронтовиков и от тружеников тыла: что с Эрмитажем? Из газет многие знали, что основные сокровища Эрмитажа эвакуированы куда-то в глубокий тыл, но какова судьба музейных ценностей, оставшихся в осажденном городе, какова судьба великолепных эрмитажных залов? Очерком Татьяны Тэсс газета ответила миллионам людей: Эрмитаж жив!

«Эрмитаж был радостью нашей страны. Фашисты стреляли из тяжелых злых орудий прямо в его сердце, стреляли, но не смогли убить». Писательница Татьяна Тэсс рассказала обо всем, что она увидела в израненных эрмитажных зданиях, начиная с тех залов Нового Эрмитажа, где уже осенью 1941 года по частям разлетались стеклянные купола, и кончая тем залом Зимнего дворца, куда последний фашистский снаряд попал в январе 1944 года, накануне полного освобождения Ленинграда от блокады, и где «оконные рамы висят сейчас на петлях, перекошенные, кривые, как в гоголевском «Вие», когда перед криком петуха лезла в окно и застревала, не успев уйти, всякая нечисть».

Из очерка в «Известиях» советские люди впервые узнали и о том, как хранители Эрмитажа спасали музей — от сырости, от дождя, от снега, ото льда...

«Музейные работники лазали по крыше, зашивая досками дыры, они привязывали себя веревками к стропилам; пожилая женщина, специалистка по западному искусству, жмурила от страха глаза и повторяла только одно: «Как во сне. Честное слово, как в страшном сне...» И все же лезла на обдуваемую ледяным ветром крышу и приколачивала гвоздями доску поверх пробины, сквозь которую медленно падали вниз снежинки...»

Все это позади, но все это было.

«В дни блокады,— писала Татьяна Тэсс,— ...нужна была подлинная душевная сила, чтобы не существовать, а жить. О работниках Эрмитажа можно сказать: они жили...»

Сейчас в тихом, глубоко и счастливо вздохнувшем городе они готовят Эрмитаж к его второму рождению, к близкому уже дню, когда начнется в нем настоящая восстановительная работа... Как прекрасен будет день, когда полотна вновь вернутся в пустые рамы, подобно тому, как человек возвращается в свой родной дом».



Война еще идет, но она все дальше отодвигается от Ленинграда, и город уже принялся залечивать раны, нанесенные ему блокадой. С утра и до вечера в Эрмитаже главный архитектор и главный инженер исписывают цифрами лист за листом, а машинистка перепечатывает страницу за страницей длинные списки материалов, которые необходимы Эрмитажу для неотложных работ по восстановлению поврежденных зданий и реставрации внутренней отделки музейных залов.

«Гипс — 65 тонн,— печатает машинистка,— алебастр — 80 тонн, цемент — 100 тонн, клей столярный — 2 тонны, мел плавленный — 40 тонн, мел молотый — 30 тонн, асфальтовая мастика — 100 тонн».

Несколько месяцев назад, за неделю до снятия блокады, 20 января 1944 года, та же машинистка на той же машинке перепечатывала служебное отношение с просьбой отпустить Государственному Эрмитажу «керосина — 15 литров, спичек — 5 коробок, свечей — 15 штук».

«Красителей тертых — 30 тонн,— печатает теперь машинистка,— красителей сухих — 20 тонн, белил свинцовых — 10 тонн, олифы натуральной — 20 тонн...»

Всего несколько месяцев назад та же машинистка перепечатывала служебное отношение об отпуске Государственному Эрмитажу 5,5 кубического метра фанеры, а сейчас она печатает:

«Стекла зеркального — 4000 кв. метров, стекла тройного бемского — 4000 кв. метров, стекла двойного бемского — 8000 кв. метров, стекла «люкс» — 2000 кв. метров, паркета клееного — 4000 кв. метров, паркета цветных пород — 1000 кв. метров, железа кровельного — 120 тонн...»

Война еще идет дорогой трудных побед, Советская Армия очищает родную землю от фашистских захватчиков, на пути к Берлину солдаты перематывают и сносят еще немало портянок...

«Холста разного — 2000 метров,— печатает машинистка в Эрмитаже,— ткани декоративной — 30 000 метров».— Она закладывает в машинку чистый лист бумаги и продолжает печатать: «Бронзы для литья — 2 тонны, бронзы листовой — 2 тонны, бронзы в порошке — 80 килограммов, золота сусальными листами — 6 килограммов...»

Килограммы золота и тонны свинца, сотни кубометров леса пиленого цветных пород и тысячи кубометров пиленого леса хвойных пород; тонны олова, воска, желатина, лака, шурупов, гвоздей...

«24 августа 1944 года Эрмитаж получил постановление Совета Народных Комиссаров СССР об отпуске средств на восстановление музея и об отпуске по заявке Эрмитажа материалов для строительных работ,— пишет А. В. Сивков, вернувшийся к исполнению своих обязанностей главного архитектора.— Начали прибывать из Москвы фонды на материалы».

Но восстановление Эрмитажа началось задолго до того. Начальная дата послевоенного возрождения музея — 27 января 1944 года, день исторической победы под Ленинградом, когда хранители Эрмитажа задумали устроить в том же, еще военном 1944 году выставку памятников искусства и культуры, остававшихся в Ленинграде во время блокады. Для задуманной выставки нужно было отремонтировать хотя бы несколько залов, придать им вид, приличествующий Эрмитажу.

Рабочих-строителей не найти — ни штукатуров, ни маляров, ни стекольщиков, ни кровельщиков. Будущие мраморщики, лепщики, позолотчики, столяры-краснодеревцы еще учатся в созданном для них специальном училище. Весной и летом 1944 года Эрмитаж мог рассчитывать только на рабочие руки самих эрмитажников, руки, привыкшие за годы блокады к любой работе. Своими натруженными руками принялись работники музея готовить экспозиционное помещение для выставки — на втором этаже Ламотова павильона.

Надо было очистить от залежей песка и мусора Павильонный зал, Романовскую и Петровскую галереи, примыкающие к ним залы и лестницы; надо было заново остеклить окна; надо было привести в порядок паркет, потолки, стены, а в одной из стен даже заделать пробоину от снаряда. И все — своими руками.

Малярами, плотниками, стекольщиками, штукатурами предстали эрмитажники перед академиком Орбели, возвратившимся из Еревана. И будто не было двух лет разлуки,— знакомая синяя спецовка сразу сменила на нем респектабельный черный пиджак, в котором директор Эрмитажа лишь позавчера — в Москве, проездом — побывал в Комитете по делам искусств, и в ЦК, и в Совнаркоме, уточняя возможности и сроки полного восстановления музея.

Все, что он узнал в Москве, укрепляло его убежденность в том, что в будущем году можно будет реально ставить вопрос о реэвакуации с Урала музейных коллекций. В Комитете его предупредили, что в ближайшее время от него потребуют детальный план работ по капитальному ремонту всех эрмитажных зданий — основные экспозиционные залы и музейные хранилища должны быть готовы к моменту реэвакуации. Приехав в Ленинград, он тотчас засадил главного архитектора и главного инженера за составление многолистного перечня строительных и отделочных материалов; цифры в заявках казались астрономическими в условиях продолжающейся войны, но он не сомневался, что правительство щедро отпустит Эрмитажу и материалы и средства. Его уже волновали штаты: в Комитете обещали утвердить на будущий год штатный контингент в пределах довоенной численности, а значит, уже сейчас надо думать о подготовке новых, молодых научных сил. Он договорился в Москве, как и обещал Пиотровскому, что в 1945 году будут возобновлены раскопки Кармир-Блур; в план научной работы он теперь включит и археологическую экспедицию в село Эльтиген.



Керчь была освобождена в апреле 1944 года, а к середине мая закончились военные действия в Крыму. Едва восстановили железную дорогу, на узловой станции Джанкой с поезда сошел невысокий чернобородый человек, вернее — не сошел, а соскочил с открытой платформы, на которой он проделал немалую часть своего далекого пути.

Военный комендант проверил документы приезжего и проводил его к товарному составу, который вот-вот отойдет на Керчь. Все вагоны опломбированы, порожним оказался только один — из-под извести, в него-то, не раздумывая, взобрался приезжий.

Вагон трясло. От известковой пыли борода сразу стала белой. В Керчь он приехал, похожий на мельника. Попутный грузовик подкинул его в село Эльтиген.

Берег изрыт траншеями и блиндажами. Разрушенные дома. Гремят котелками солдаты у походных кухонь.

В сельсовете новые люди, а приезжий — чуть ли не старожил этих мест. У него письмо к председателю сель-

совета и весьма убедительный мандат — удостоверение на бланке Государственного Эрмитажа:

«Настоящее дано старшему научному сотруднику филиала Государственного Эрмитажа т. Худяку Марку Матвеевичу в том, что ему поручается проведение археологического обследования и научного описания современного состояния археологического заповедника — древнегреческого города Нимфей у селения Эльтиген, Маяк-Салынского района, Крымской АССР.

Тов. Худяку поручается, согласно законоположениям Советского Союза о государственных заповедниках, принятие всех возможных мер по сохранению и охране древнего города Нимфея.

Филиал Государственного Эрмитажа просит оказать тов. Худяку возможное содействие в выполнении возложенных на него поручений».

Худяк хотел немедля пройти на плато, где вел раскопки накануне войны, но его не пустили: кругом мины! Мины были и вокруг Святилища Деметры — внизу, у самого моря. Начальнику нимфейских археологических экспедиций пришлось вернуться в Керчь, и оттуда он приехал уже на «виллисе» вместе с начальником инженерного отделения Керченской военно-морской базы.

Осмотр древних памятников Нимфея начали со Святилища Деметры. Впереди шел сапер со щупом, а вслед за ним, гуськом, медленно двигались морской офицер и эрмитажный археолог. Замыкала осторожное шествие женщина во флотском кителе.

В Святилище Деметры проступали на стене слова, выведенные две с половиной тысячи лет назад: «Не гадьте в святилище». Тут же, в каменной стене с античной росписью, торчали гвозди, вбитые гитлеровскими солдатами. «Варвары!» — сказал сапер. Худяк установил, что с нижней террасы святилища исчез древний алтарь из тесаных камней.

Акт о состоянии памятников составляли уже наверху, на плато, куда их тоже провел сапер. Женщина во флотском кителе писала, Худяк диктовал:

*«Мы, нижеподписавшиеся, старший научный сотрудник Гос. Эрмитажа Худяк М. М., начальник Инженерного отделения Керченской военно-морской базы Черноморского флота Смирнов И. А. и делопроизводитель того же Инженерного отделения Варганова А. А., составили настоящий акт в том, что, осмотрев раскопки на*

*городище Нимфея, произведенные Государственным Эрмитажем в 1939, 1940 и 1941 годах, нашли...*

*...Святилище Деметры... На нижней террасе все цело за исключением алтаря, тесаные камни которого найдены в немецком блиндаже. Блиндаж был устроен за северной стеной священной округи святилища...*

*На верхнем плато городища... немецкие захватчики устроили ходы сообщения и блиндажи главным образом на мысу юго-восточной оконечности городища...*

*...Поврежденным оказался раскоп «С»... Этот раскоп немецкими захватчиками был расширен и в нем был устроен блиндаж...»*

Последние строки акта гласили:

*«В настоящее время на городище расположена воинская часть, весь личный состав которой бережно относится к древним памятникам».*

Вслед за сапером они спустились с плато. Эрмитажная археологическая экспедиция еще не раз приедет в Героевское — так будет переименовано село Эльтиген в честь героического десанта советских войск, освободивших Керчь. А сейчас, закончив рекогносцировку Нимфея, археолог Худяк снова сел в «виллис» рядом с подполковником. Три дня объезжали они затем места недавних боев, обследуя памятники древнего Боспорского царства. Саперы всюду расчищали минные поля.



В саду у Зимнего дворца заровняли траншеи, засыпали землей последние воронки. Одни сотрудники Эрмитажа благоустраивали территорию, окружающую музей, другие плотничали и малярили в Ламотовом павильоне. К осени в Павильонном зале и обеих галереях стало чисто и светло: отодрав покоробленную фанеру от оконных переплетов, музейные работники своими руками вставили новые, гладкие, прозрачные стекла.

Все сделано, все готово! Можно развешивать люстры...

Громадным хрустальным люстрам, три года назад перенесенным из Павильонного зала в надежный подвал, выпала та же участь, что и эрмитажному фарфору, укрытому в подвале под залом Афины. Люстры тоже

затопило, хотя они были подвешены на веревках к высоким, специально для них изготовленным козлам. Первой блокадной весной, когда хранители отворили двери подвала, с козел свисали обрывки перегнивших веревок, а в воде, покрывавшей каменный пол, громоздились бесформенные груды тусклого хрусталя и позеленевшей бронзы.

«Особенно сложной,— свидетельствует А. В. Сивков,— оказалась работа по реставрации хрустальных люстр Павильонного зала, за которую взялись научные сотрудники Эрмитажа, преодолевшие все трудности нового дела и вскоре получившие возможность любоваться делом своих рук».

Двадцать восемь громадных люстр уже висят в Павильонном зале, как они висели перед войной. Остается натереть паркеты...

«Все попытки найти полотеров не увенчались успехом,— пишет А. В. Сивков в «Сообщениях Государственного Эрмитажа».— Тогда решено было натереть полы самим: два «бригадира» — начальник строительства<sup>1</sup> и главный инженер — сколотили бригады из вызвавшихся добровольцев и, показывая пример, как заправские полотеры, натерли вместе со своими бригадами первые со времени начала войны полторы тысячи квадратных метров паркетных полов в залах Эрмитажа».

Паркеты, натертые до довоенного блеска, отразили хрустальные гроздьи еще незажженных люстр.

Люстры зажглись 8 ноября 1944 года. Вспыхнули сотни затерянных в хрустале электрических огней, и, по-детски радуясь, академик Орбели захлопал в ладоши: чертог сиял!

До открытия выставки меньше часа. Ему советуют присесть и немного отдохнуть, но отдыхать он не в силах. Обходя еще раз, уже совсем напоследок, второй этаж Ламотова павильона, он задерживается в Кабинете Кваренги — маленьком зале, примыкающем к Павильонному; конечно же — как он раньше об этом не подумал?— бюст Марка Аврелия должен быть помещен в самом начале экспозиции. Этот бронзовый бюст — не исконная эрмитажная вещь, а поступление 1944 года, но пусть все, входя на выставку, прочтут маленькую табличку, прикрепленную к постаменту:

---

<sup>1</sup> Автор цитируемых строк, в ту пору — главный архитектор Эрмитажа.

«Эдмонд Гастклу. Бюст императора Марка Аврелия. Найден под откосом около станции Новоселье Варшавской железной дороги — после крушения взорванного партизанами фашистского поезда с награбленным металлическим ломом».

Он помог перетащить постамент: вот сюда, левее, стоп! Теперь у каждого на виду экспонат, достойный общего внимания: римский император, спасенный народными мстителями.

Пора встречать гостей. Он примял рукой распушившуюся бороду, пригладил седеющие кудри. Своих лет он сегодня не ощущал. Он был сегодня таким же молодым, тридцатитрехлетним профессором Орбели, каким он встречал в 1920 году первых посетителей первой после революционной выставки в Эрмитаже. Как и сейчас, основные коллекции музея находились тогда в эвакуации: как и сейчас, на выставке 1920 года были представлены вещи из запасников; как и сейчас, входом на выставку служил тот подъезд на Дворцовой набережной, который издавна назывался Советским.

Подъезд, через который входили в Эрмитаж посетители выставки 1920 года, и лестница, которая вела их в пышные дворцовые апартаменты, ставшие выставочными залами, названы были Советскими еще в старые времена, когда в этой части дворца заседал Государственный совет Российской империи. Совсем иной смысл этим давнишним названиям придали революционные рабочие Красного Петрограда: через Советский подъезд, по Советской лестнице они впервые поднимались в советский Эрмитаж.

По красным ковровым дорожкам, разостланным на беломраморных ступенях Советской лестницы, поднимались 8 ноября 1944 года и первые посетители первой после блокады эрмитажной выставки. «То, что вы увидите сегодня в нескольких залах Эрмитажа,— сказал, открывая выставку, академик Орбели,— это только первый шаг на пути к полному восстановлению величайшего музея нашей Родины».

Чертог сиял...

«В Государственном Эрмитаже открылась выставка памятников искусства и культуры, хранившихся в Ленинграде в дни войны,— писала «Ленинградская правда», рассказывая о праздновании Октябрьской годовщины в городе Ленина.— На выставке представлены основные отделы Эрмитажа...»

Идет к концу Великая Отечественная война; через четыре месяца над поверженной столицей третьего рейха взвевается советское Знамя Победы.

Из руин и пепла уже встают города, разрушенные фашистскими варварами.

Начинается новый этап в истории Страны Советов.

Начинается и новая глава в истории величайшего музея нашей страны.

Летосчисление Эрмитажа принято вести с 1764 года. За год перед тем окончилась Семилетняя война. Война эта, прославившая русское оружие, опустошила казну Фридриха II, и коллекцию «наизыснейших картин», от покупки которой вынужден был отказаться прусский король, купила у берлинского негоцианта Гоцковского в 1764 году русская императрица. Архитектор Деламот, адъюнкт-ректор Академии художеств, получил повеление изготовить проект особого павильона для «Эрмитажа Ея Величества».

Ламотов павильон продолжил Зимний дворец. Спустя сто лет, когда эрмитажные сокровища из Ламотова павильона и воздвигнутого рядом с ним «Фельтенова дома» были уже переселены в новое, специально для них построенное здание Музеума — с многочисленными выставочными залами, с картинной галереей, освещенной верхним светом, с гранитными атлантами у подъезда, «Императорский Эрмитаж» по-прежнему являлся музейным флигелем Зимнего дворца, резиденции русских императоров. «Эрмитажный дворец, — устанавливал новый каталог, — есть только продолжение Зимнего дворца».

Продолжением Зимнего дворца оставался Эрмитаж вплоть до 1917 года. Октябрьская революция, переместив все социальные акценты, сделала Зимний дворец продолжением Эрмитажа. Значительная часть колоссального здания бывшей царской резиденции была передана Эрмитажу в 20-х годах — стены старых эрмитажных зданий не могли уже вместить многократно возросшие после революции музейные собрания. Однако в годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне, музеем снова стало тесно, и в январе 1945 года, незадолго до начала восстановительных работ в музей-

ных зданиях, за четыре месяца до окончания войны, в полное владение Эрмитажа перешел весь Зимний дворец<sup>1</sup>.

На директорском столе лежат кальки с планами музейных помещений. Карандаш Орбели скользит по кальке — из зала в зал. Пришел главный инженер, и вдвоем они принялись обсуждать очередность строительных и реставрационных работ, — работы грандиозные, рассчитанные не на год, не на два<sup>2</sup>. Но в нынешнем 1945 году, до осени, не позднее, должны быть готовы те залы и хранилища, которые первыми примут эрмитажные коллекции, когда осенью, не позднее, они вернутся с Урала в Ленинград.



На Дворцовую площадь всегда выходят ленинградцы в дни народных торжеств. Сюда, на главную площадь Ленинграда, ликующие граждане города-героя вышли и в первый послевоенный день — 9 мая 1945 года. Людской прибой выплеснулся на набережную Невы, и вечером прозрачные стекла в окнах Павильонного зала отразили огни салюта Победы.

Война окончена. Полки и дивизии, отстоявшие Ленинград и дошедшие до Берлина, возвращаются домой. Овеянные славой, проходят они торжественным маршем под триумфальной аркой, и это та триумфальная арка,

---

<sup>1</sup> Директор Эрмитажа особым приказом оповестил 8 января 1945 года сотрудников музея:

«Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся 6 января 1945 года вынес решение передать Государственному Эрмитажу все помещения Зимнего дворца... Решение Ленгорисполкома является живым проявлением исключительного внимания Партии и Советской власти к потребностям Государственного Эрмитажа... Открываются возможности не только достойного размещения отдела истории русской культуры, но и расширения экспозиций других отделов Эрмитажа и устранения тех непоследовательностей в расположении экспозиций, которые вызывались недостаточностью экспозиционной площади и разрывами в расположении зал...»

<sup>2</sup> Представление о масштабах этих работ дают следующие цифры, приводимые в «Сообщениях Государственного Эрмитажа»: площадь всех музейных помещений составляет 104 000 квадратных метров, а объем — миллион кубических метров; «если взять приведенные данные для наглядности применительно к жилым домам, — пишет А. В. Сивков, — то по размерам это составило бы два средней величины квартала, на которых расположено до 50 шестизатяжных домов».

очертания которой архитектор Никольский набрасывал на листах ватмана блокадной зимой в бомбоубежище Эрмитажа. Идут домой солдаты — их ожидают заводские цеха, строительные площадки, научные лаборатории. Война окончена, — по одному возвращаются в Ленинград эрмитажники-фронтовики, по одному съезжают и работники музея, раскиданные эвакуацией по дальним городам и селам.

Служебный подъезд, хоженный-перехоженный. На доске объявлений — график работ. Все сотрудники Эрмитажа разбиты на бригады, и каждая бригада представляет вечером ученому секретарю письменный отчет:

«Бригада проф. Доброклонского. Работали Глинка, Шарая, Лисенков, Доброклонский. Убран зал нидерландской живописи. Вынесены стекла, доски, картон...»

«Бригада Вылегжаниной. Убраны все итальянские залы».

«Бригада проф. Якубовского. Работали Султан-Шах, Шамилова, Якубовский. Снята фанера с окон 1-й и 2-й запасных половин Зимнего дворца».

«Бригада проф. Флиттнер. Работали Калинина, Питровская, Флиттнер. Разобрано и перенесено в библиотеку 211 пачек книг отдела нумизматики».

«Бригада проф. Гуковского. Разобрано панцирей и частей доспехов — 65, оружия (алебард, протазанов, пик и др.) — 120, ружей — 70, шпэг, сабель и др. — 190, разных других предметов — 45. Всего — 490 предметов».

У стен эрмитажных залов уже высятся дощатые помосты для реставрационных работ широкого профиля. В дворцовые ворота въезжают грузовики со строительными материалами наивысших кондиций. И каждое утро сотни людей самых дефицитных сейчас в Ленинграде профессий предъявляют эрмитажным вахтерам свои временные служебные пропуска: кровельщики и паркетчики, каменщики и стекольщики, водопроводчики и штукатуры, маляры и теплотехники, мраморщики и лепщики, фойщики и позолотчики...

В начале июля ленинградское радио передало:

«Ввиду развернувшихся восстановительных работ в Эрмитаже Временная выставка памятников искусства и культуры, оставшихся в Ленинграде во время блокады, закрывается с 8 июля 1945 года...»

Решение о реэвакуации художественных собраний Государственного Эрмитажа было принято Советом

Народных Комиссаров СССР 29 августа 1945 года. «Все готово к приему вещей»,— телеграфирует Орбели спустя месяц в Свердловск и получает ответную телеграмму Левинсона-Лессинга: «Все подготовлено для отправки».

Утром 3 октября у платформ станции Свердловск-товарная вытянулись два железнодорожных состава; в каждом по двадцать два четырехосных пульмана, в каждом по бронированному вагону, в каждом — пассажирские вагоны для сотрудников музея и военной охраны. В девять ноль-ноль из штаба Уральского военного округа позвонили в филиал Эрмитажа: «Машины вышли». Первый грузовик въехал во двор Картинной галереи, солдаты перемахнули через борт и доложились дежурному хранителю.

«3 октября 1945 года. 9.25. Пришла первая машина из Военного округа,— записано в «Журнале дежурств» Свердловского филиала.— 10.20. Погружен первый ящик...»

Последнюю запись в «Журнале дежурств» сделала через три дня старейший эрмитажник Татьяна Давыдовна Каменская:

«6 октября 1945 года. 22.00. Вывезены все ящики со всех объектов».

На рассвете 7 октября от станции Свердловск-товарная с интервалом в один час отошли два литерных эшелона, а 11 октября «Ленинградская правда» сообщила:

«Вчера в двух эшелонах в Ленинград прибыли все ценности Эрмитажа, эвакуированные в начале войны в Свердловск... Эшелоны сопровождали сотрудники Эрмитажа во главе с профессором В. Ф. Левинсоном-Лессингом... Прибывших тепло встретили научные сотрудники Эрмитажа во главе с директором музея академиком И. А. Орбели».



От товарной станции Ленинград-Октябрьская отъезжают машины, груженные опломбированными ящиками. Грузы сопровождают солдаты с винтовками в руках и женщины в дорожных косынках. Машины сворачивают на Невский проспект. Все-таки нет ничего лучше Невского проспекта! По Невскому проспекту, такому прекрасному и белой июньской ночью и пасмурным октябрьским днем, движется вереница грузовиков, держа путь к Эрмитажу.

И вот она, Дворцовая площадь, и вот он — Зимний дворец! Он снова в громоздком переплетении строительных лесов — как тогда, четыре года назад, когда в июне, белой ночью, те же женщины в дорожных косынках окидывали его прощальным взглядом. Леса снова окружают Зимний, но теперь за их деревянной изгородью виден только что окрашенный торжественно-парадный дворцовый фасад.

Шесть подъездов распахнуты настежь. У шести подъездов стоят хранители музея, опять сверяют шифры и номера сгружаемых ящичков с номерами и шифрами в списках и ведомостях.

Дошатую карету, из которой так и не выходил на Урале мраморный Вольтер, подвозят к подъезду с атлантами. Многопудовый ящик, подтягиваемый лебедкой, медленно пополз навверх по деревянному настилу, вновь покрывшему все три марша лестницы. Орбели, чуть обождав внизу, обгоняет ящик и встречает Вольтера на верхней площадке. Потом он торопится в другой конец музея, сбегает по Главной лестнице, под самым потолком которой еще работают позолотчики, и у подъезда, выходящего на Дворцовую набережную, встречает ящички с сасанидским серебром. Он провожает их в хранилище отдела Востока и спешит к Советскому подъезду, куда с минуты на минуту должны доставить ценности Особой кладовой.

«Разгрузка эшелонов началась 11 октября в 8 час. 30 минут и закончилась 13 октября в 13 часов,— докладывает директор Эрмитажа в Москву, председателю Комитета по делам искусств.— Ни при разгрузке на товарной станции, ни по пути следования в музей, ни при выгрузке в Эрмитаже каких-либо инцидентов и аварий не произошло. Проверка наличия ящичков установила полное совпадение их количества, шифров и номеров со списками ящичков, вывезенных из Эрмитажа в 1941 году в составе первого и второго эшелонов... 14 октября начата развеска картин Рембрандта...»

То одни, то другие пустые рамы покидают стены и простенки в зале Рембрандта, не надолго, на час-другой,— и снова уже висят в своих рамах и «Портрет старика в красном», и «Портрет молодого человека с кружевным воротником», «Святое семейство» и «Флора», «Даная» и «Возвращение блудного сына». В своей золоченой раме и амстердамский ученый; отведя взор от лежащей перед ним рукописи, он сосредоточенно наблю-

дает, как Николай Дмитриевич Михеев, знакомый ему эрмитажный реставратор, раскатывает вал с драгоценными полотнами. Десять полотен проложены бесцветной бумагой, среди них — «Жертвоприношение Авраама» и «Снятие со креста».

Ящики внесли еще в шестьдесят восемь залов, отремонтированных и убранных к прибытию вещей с Урала; над ящиками опять склонились люди — в их руках на этот раз не молотки, а гвоздодеры. И опять на паркетах горы стружки и слежавшейся ваты, и мятая бумага, и обрывки клеенки...

Картины, скульптуры, фарфор, майолика, художественное стекло, и античные вазы, и скифское золото — все размещается на прежних местах, в педантичном соответствии с довоенными топографическими описями. Через несколько лет, когда музей будет полностью восстановлен и экспозиции его научных отделов займут триста сорок пять выставочных залов<sup>1</sup>, многое изменится и в тех залах, которые первыми откроются после войны. Так — будет, а сейчас надо, чтобы каждый, приходя в Эрмитаж для долгожданного свидания с любимыми вещами, нашел их там, где всегда привык их видеть, — в том же зале, на том же месте, в окружении тех же вещей.



Всего несколько дней остается до Октябрьской годовщины, — Ленинград уже в алых полотнищах праздничного убранства. Утром 4 ноября эрмитажники торопливо шагают по Дворцовой набережной к своему служебному подъезду, и им кажется, что набережная украшена в честь сегодняшнего торжества в Эрмитаже.

В вестибюле служебного подъезда вывешен приказ директора музея:

«Объявляю для сведения всех работников Государственного Эрмитажа текст полученной правительственной телеграммы:

---

<sup>1</sup> В настоящее время в Государственном Эрмитаже шесть научных отделов: отдел истории русской культуры, отдел истории первобытной культуры на территории СССР, отдел истории культуры и искусства народов Востока, отдел истории, культуры и искусства античного мира, отдел истории западноевропейского искусства, отдел нумизматики и медальерного искусства. Всего в музее на экспозициях и в фондах хранится свыше 2 750 000 произведений искусства и памятников культуры.

Ленинград, Эрмитаж.  
Академику Орбели.

*С чувством глубокой радости приветствуем вас и весь коллектив в день восстановления и открытия одного из крупнейших музеев мира — Государственного Эрмитажа. Примите сердечную благодарность за самоотверженную работу по сохранению ценностей, восстановлению и открытию музея в кратчайшие сроки. Ваши замечательные успехи достигнуты благодаря большой любви к своему делу, которая свойственна лучшим людям нашей страны. Эта любовь — залог дальнейших успехов в деле восстановления и развития Эрмитажа...»*

Расходятся по залам, занимают свои посты в покойных дворцовых креслах старушки — смотрительницы залов. К воскресному утру 4 ноября 1945 года в шестидесяти девяти залах Эрмитажа все выглядит совершенно так, как оно выглядело воскресным утром 22 июня 1941 года.

В залах еще безлюдно, но все марши парадной лестницы Нового Эрмитажа уже заполнены гостями, приглашенными на торжественный вернисаж, и все новые и новые гости проходят в музейный вестибюль мимо недвижимых атлантов<sup>1</sup>. Гостей встречают работники музея — и те, кто оберегал Эрмитаж в суровые годы блокады, бойцы его гражданского гарнизона, и те, кто бережно охранял в глубоком тылу и сберег для народа бесценные сокровища Эрмитажа.

Академик Орбели поднял руку, установилась тишина. Его речь была короткой, потому что ему не терпелось произнести те два слова, которыми он и заключил свою речь:

— Эрмитаж открыт!

## Эпилог

В ноябре 1945 года начался Нюрнбергский процесс. Он длился почти год. Десять месяцев и одиннадцать дней внимание всего мира было обращено к старинному немецкому городу, где Международный военный трибунал судил главных военных преступников. Подсуди-

---

<sup>1</sup> Главный подъезд Эрмитажа на Дворцовой набережной был открыт для посетителей три недели спустя, 25 ноября.

мые обвинялись в преступлениях против мира, в совершении военных преступлений и преступлениях против человечности.

На исходе третьего месяца судебного процесса, в феврале 1946 года, Международный военный трибунал перешел к рассмотрению доказательств по разделу обвинения: «Разрушение и разграбление культурных и научных ценностей». Два дня доказательства по этому разделу представляло советское обвинение. Суду предъявлялись неопровержимые документы, а на экране, установленном в судебном зале, демонстрировались документальные фильмы, запечатлевшие разрушенные фашистскими оккупантами памятники национальной культуры. На заседании 22 февраля помощник главного обвинителя от СССР М. Ю. Рагинский обратился к председательствующему:

— Господин председатель! Чтобы исчерпать представленные доказательства по моему разделу, прошу вашего разрешения допросить свидетеля Орбели, который уже находится в здании Трибунала. Орбели будет свидетельствовать о разрушении памятников культуры и искусства в Ленинграде<sup>1</sup>.

Со своего места приподнялся один из немецких адвокатов, и председатель спросил его:

— У вас есть какие-нибудь возражения?

— Я прошу Суд не заслушивать свидетеля, потому что Ленинград никогда не был оккупирован, и поэтому нельзя установить, что покажет этот свидетель.

— Трибунал считает, что возражение адвоката не является существенным,— произнес председатель.— Свидетель будет заслушан.

Орбели вошел в зал и остановился у свидетельского пюльта. Вслед за председателем он повторяет слова присяги:

— Я — Орбели Иосиф, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вызванный в качестве свидетеля по настоящему делу, перед лицом Суда обязуюсь и клянусь говорить Суду только правду обо всем, что мне известно по настоящему делу.

Взгляд Орбели скользнул по скамье подсудимых, на мгновение задержался на Геринге — это Геринг подписал план полного уничтожения Ленинграда...

<sup>1</sup> Между стенограммой выступления Орбели на Нюрнбергском процессе и текстом, данным авторами, есть некоторые разночтения, не имеющие принципиального характера. — *Ред.*

— Скажите, пожалуйста, свидетель,— спросил представитель советского обвинения,— какую должность вы занимаете?

— Директор Государственного Эрмитажа.

— Ваше ученое звание?

— Действительный член Академии наук Советского Союза, действительный член Академии архитектуры Союза ССР, действительный член и президент Армянской Академии наук, почетный член Иранской Академии наук, член Общества антикваров в Лондоне, член-консультант Американского института археологии и искусств.

— Находились ли вы в Ленинграде в период немецкой блокады?

— Находился.

— Известно ли вам о разрушениях памятников культуры и искусства в Ленинграде?

— Известно.

— Не можете ли вы изложить Суду известные вам факты?

И свидетель обвинения академик Орбели, директор Государственного Эрмитажа, возвысил свой голос для того, чтобы поведать Международному трибуналу обо всем, что никогда не будет забыто советским народом.

«Старый академик выступил на свидетельской трибуне, как прокурор»,— писала «Правда» об этом дне судебного разбирательства. А старый академик приводил только факты. Он назвал число снарядов, выпущенных по Эрмитажу фашистскими артиллеристами, он назвал число бомб, сброшенных на Эрмитаж фашистскими летчиками. Он говорил о снаряде, который ранил гранитное тело эрмитажного атланта, он говорил о снарядах, которые рвались в эрмитажных залах, он говорил о фугасной бомбе, которая погубила в музейном здании на Соляном переулке немало эрмитажных вещей. Он перечислил затем архитектурные памятники, пострадавшие в Ленинграде от артиллерийских обстрелов и авиационных бомб, и рассказал о руинах, которые видел в Петергофе, Пушкине, Павловске. И опять он говорил об Эрмитаже:

— Преднамеренность артиллерийского обстрела Эрмитажа для меня и для всех моих сотрудников была ясна потому, что повреждения причинены музею не случайным артиллерийским налетом, а последовательно, при тех методических обстрелах города, которые велись на протяжении многих месяцев.

Адвокаты пытались оспорить показания свидетеля Орбели.

— Достаточно ли велики познания свидетеля в артиллерии, чтобы он мог судить о преднамеренности этих обстрелов?— спросил адвокат, защищавший гитлеровский генеральный штаб. Орбели ответил:

— Я никогда не был артиллеристом. Но в Эрмитаж попало тридцать снарядов, а в расположенный рядом мост всего один, и я могу с уверенностью судить, куда целил фашизм. В этих пределах — я артиллерист!

У свидетельского пульта — директор Эрмитажа. На скамье подсудимых — главные военные преступники.

«Разрабатывая свои безумные планы мирового господства,— сказал советский обвинитель на Нюрнбергском процессе,— гитлеровские заговорщики наряду с развязыванием и осуществлением грабительских войн готовили поход против мировой культуры... Они пытались повернуть человечество вспять... Дерзновенно посягая на будущее человечества, они топтали лучшее в наследии его прошлого... В невиданном единоборстве культуры и мракобесия, цивилизации и варварства победителями вышли культура и цивилизация».

*Май 1964 года*

## ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

---

Архив Государственного ордена Ленина Эрмитажа (1941—1945 гг.)

*Аносова А. М.* Из воспоминаний \*.

*Антонова Л. В.* В годы войны. Рукопись.

*Антонова Л. В.* Из воспоминаний \*.

*Балашова Г., Банк А. А. Ю.* Якубовский (1886—1953). — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. VI, Л., 1954.

*Банк А.* Памяти погибших. — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. V, Л., 1948.

*Банк А. В.* Из воспоминаний \*.

*Белов Г.* Восстановление экспозиции античного отдела. — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. V, Л., 1948.

*Борисов А. Я., Луконин В. Г.* Сасанидские геммы. Изд. Гос. Эрмитажа. Л., 1963.

*Брянцев А., Николаева З., Ильцен Л. Н. Д., Михеев (1881—1958).* — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. XVI, Л., 1959.

*Варшавская М.* Экспозиция отдела истории западноевропейского искусства (Первый этап восстановления). — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. V, Л., 1948.

*Варшавский С., Рест Б.* Эрмитаж. Очерки из истории Государственного Эрмитажа. 1764—1939. Л., Искусство, 1940.

*Васильев В.* На трудовом посту. — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. V, Л., 1948.

*Вильм А. В.* Из воспоминаний \*.

Временная выставка памятников искусства и культуры, оставшихся в Ленинграде во время блокады (Каталог). Изд. Гос. Эрмитажа. Л., 1945.

---

<sup>1</sup> Звездочкой (\*) обозначены записи воспоминаний сотрудников Государственного Эрмитажа, сделанные авторами книги.

- Глинка В. М.* Из воспоминаний \*.
- Губчевский П.* Политико-просветительная работа музея. — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. V. Л., 1948.
- Губчевский П. Ф.* Из воспоминаний \*.
- Гюзальян Л. И. А. Орбели (1887—1961).* — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. XXII. Л., 1962.
- Доброклонский М. В.* Из воспоминаний \*.
- Зарецкая З. В.* Из воспоминаний \*.
- Изергина А.* Временная выставка памятников искусства и культуры, оставшихся в Ленинграде во время блокады. — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. V. Л., 1948.
- Изергина А. Н.* Из воспоминаний \*.
- Инбер В.* Почти три года (Ленинградский дневник). Избранные сочинения, т. 3. М., Гослитиздат, 1958.
- Калинин В.* В дни блокады (Выписки из дневника). Рукопись.
- Каменская Т. Д.* Из воспоминаний \*.
- Карасев А. В.* Ленинградцы в годы блокады (1941—1943). М., Изд-во АН СССР, 1959.
- Кипарисов В. Т. Н. Сильченко (1883—1956).* — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. XII. Л., 1957.
- Кроль А. Е.* Из воспоминаний \*.
- Крутиков М.* Отдел истории русской культуры. — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. V. Л., 1948.
- Левинсон-Лессинг В. Ф.* В глубоком тылу. — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. V. Л., 1948.
- Левинсон-Лессинг В. Ф.* Научная и музейная деятельность М. В. Доброклонского. Л., Изд. Гос. Эрмитажа, 1959.
- Левинсон-Лессинг В. Ф.* Выставка картин и рисунков русских художников начала XX века из собрания Ф. Ф. Нотгафта (Вступительная статья к каталогу). Л., Изд. Гос. Эрмитажа. 1962.
- Левинсон-Лессинг В. Ф.* Из воспоминаний \*.
- Манцевич А.* Серебряная ваза из кургана Чертомлык. — В кн.: Сокровища Эрмитажа. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949.
- Матье М.* Выставка «Военная доблесть русского народа» в 1943 г. — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. V. Л., 1948.
- Матье М. Н. Д. Флиттнер (1879—1957).* — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. XIV. Л., 1958.
- Матье М. Э.* Из воспоминаний \*.
- Михайлова О. Э.* Из воспоминаний \*.
- Никольский А.* Собрание рисунков, сделанных в 3-м бомбоубежище Эрмитажа (Альбом). — Фонды отделения рисунков Государственного Эрмитажа.
- Никольский А.* Дневник. 1941—1942. Рукопись. — Фонды Музея истории Ленинграда.

Нюрнбергский процесс. Стенографический отчет. М., Гос. изд-во юридической литературы, 1958.

*Орбели И.* О чем думалось в дни и ночи блокады Ленинграда. — В кн.: Дружба, кн. II. Ереван, Армянское гос. изд-во, 1960.

*Орбели И.* Временная выставка памятников искусства и культуры, оставшихся в Ленинграде во время блокады (Предисловие к каталогу). Л., Изд. Гос. Эрмитажа, 1945.

*Орбели И.* Статьи в ленинградских газетах (1941—1945).

*Орбели И. А.* Из воспоминаний (Запись 1945—1946 гг.) \*.

Академик Иосиф Абгарович Орбели (Биографический очерк). — В кн.: Исследования по истории культуры народов Востока (Сборник в честь академика И. А. Орбели). М.—Л., Изд-во АН СССР, 1960.

*Павлов Д. В.* Ленинград в блокаде. М., Советская Россия, 1983.

*Пиотровский Б.* Ленинград в блокаде. Зима 1941/42 г. Рукопись.

*Пиотровский Б.* Юбилей Низами и Навои. — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. V. Л., 1948.

*Пиотровский Б.* История и культура Урарту. Ереван, Изд-во АН Армянской ССР, 1944.

*Пиотровский Б. Б.* Из воспоминаний \*.

*Пиотровский Б. Б.* Эрмитаж в блокаду. — В кн.: Советская культура в годы Великой Отечественной войны. М., Наука, 1976.

*Передольская А.* Кумская ваза. — В кн.: Сокровища Эрмитажа, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949.

*Петров Ф. Н.* Ленин всегда с нами. — В кн.: О Владимире Ильиче Ленине (Воспоминания. 1900—1922 годы), М., Госполитиздат, 1963.

*Ракитина К. А.* Из воспоминаний \*.

*Раков Л. Л.* Из воспоминаний \*.

*Рождественский Вс.* Под грохот канонады. — Огонек, 1964, № 5.

*Сивков А. В.* Здания Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны и начало восстановительных работ. — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. V. Л., 1948.

*Сивков А. В.* Реконструкция Зимнего дворца. — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. XIV. Л., 1958.

*Скуднова В. М.* Из воспоминаний \*.

*Соколова Т.* Залы Зимнего дворца и Эрмитажа, Л., Изд. Гос. Эрмитажа, 1963.

*Соколова Т. М.* Из воспоминаний \*.

*Спасский И.* Отдел нумизматики Эрмитажа. — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. XVIII. Л., 1960.

*Султан-Шах А. П.* Из воспоминаний \*.

*Тарле Е. В.* Историк-патриот. — В кн.: Дружба, кн. II. Ереван, Армянское гос. изд-во, 1960

- Тихонов Н.* Ленинград принимает бой. Л., Гослитиздат, 1943.
- Тихонов Н.* Люди света. — Известия, 1964, 21 января.
- Тревер К. В.* Из воспоминаний \*.
- Тэсс Татьяна.* В Эрмитаже. — Известия, 1944, 7 апреля.
- Ферман А. Е.* Очерки по истории камня. Т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1954. Т. 2, 1961.
- Фирсов П. П.* Из воспоминаний \*.
- Фомичева Т. Д.* Из воспоминаний \*.
- Худяк М.* Раскопки в Нимфее. — Сообщения Государственного Эрмитажа, вып. V. Л., 1948.
- Шарая Н. М.* Из воспоминаний \*.
- Юзбашян К. Н.* Академик Иосиф Абгарович Орбели. М., Наука, 1964.

**Сергей Петрович  
Варшавский**  
**Юлий Исаакович  
Рест (Б. Рест)**

---

**ПОДВИГ ЭРМИТАЖА**  
Документальная повесть

Зав. редакцией А. М. Березина  
Редактор Э. А. Ремизова  
Художник М. Д. Магарял  
Художественный редактор А. А. Власов  
Слайд на обложке Ю. Ф. Березовского  
Технический редактор Г. В. Преснова  
Корректор Л. М. Ван-Заам



ИБ № 3082

Сдано в набор 09.10.84. Подписано к печати 07.01.85.  
М-24202. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Бумага тип. № 1. Гарн.  
литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 9,24+вкл. Усл.  
кр.-отт. 11,55. Уч.-изд. л. 9,75+1,41=11,16. Тираж  
100 000 экз. Заказ № 634. Цена 50 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023,  
Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного  
Знамени типография им. Володарского Лениздата,  
191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

**Варшавский С., Рест Б.**

**В18** Подвиг Эрмитажа: Документальная повесть. —  
Л.: Лениздат, 1985. — 174 с., ил. — (Библиотека  
молодого рабочего).

Книга рассказывает о рядовых работниках Эрмитажа и всемирно  
известных ученых, которые в годы Великой Отечественной войны  
спасли для советского народа и всего человечества один из величай-  
ших музеев мира.

**В**  $\frac{0505030202-046}{M171(03)-85}$  166—85

**ББК85.101**



Документальная повесть воссоздает самую драматическую пору истории знаменитого музея — годы Великой Отечественной войны и легендарной обороны Ленинграда.

Восстанавливая события тех лет, авторы показывают «гражданский гарнизон» Эрмитажа, рядовых музейных работников и всемирно известных ученых, которые в одном строю, не страшась бомб и артиллерийских снарядов, преодолевая голод и холод, поистине героически спасали и спасли для советского народа и всего человечества один из величайших музеев мира.

